

Свиньин П. П.



**ЕРМАК, ИЛИ
ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ**

Россия державная

Россия державная

Павел Свиньин

Ермак, или Покорение Сибири

«Алгоритм»

1834

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Свиньин П. П.

Ермак, или Покорение Сибири / П. П. Свиньин —
«Алгоритм», 1834 — (Россия державная)

ISBN 978-5-501-00179-4

Павел Петрович Свиньин (1788–1839) был одним из самых разносторонних представителей своего времени: писатель, историк, художник, редактор и издатель журнала «Отечественные записки». Находясь на дипломатической работе, он побывал во многих странах мира, немало поездил и по России. Свиньин избрал уникальную роль художника-писателя: местности, где он путешествовал, описывал не только пером, но и зарисовывал, называя свои поездки «живописными путешествиями». Этнографические очерки Свиньи́на вышли после его смерти, под заглавием «Картины России и быт разноплеменных ее народов». Из других значительных трудов писателя следует выделить «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей». Кроме того, Свиньин был страстным коллекционером: он увлеченно собирал предметы старины, памятники культуры. Им составлен богатый музей картин, портретов, монет, медалей, рукописей и книг («Русский музеум»). В художественных произведениях Свиньи́на историческая реальность представляется в виде увлекательнейшего повествования, но в то же время много внимания автор уделяет подлинным историческим деталям. Роман «Ермак, или Покорение Сибири», публикуемый в данном томе, переносит читателя во времена Ивана Грозного, когда Россия активно расширяла свои границы, присоединяя новые земли.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-501-00179-4

© Сви́ньин П. П., 1834

© Алгоритм, 1834

Содержание

Введение	7
Часть первая	10
Глава первая	10
Глава вторая	16
Глава третья	19
Глава четвертая	24
Глава пятая	27
Глава шестая	31
Глава седьмая	35
Глава восьмая	39
Глава девятая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Павел Свињин

Ермак, или Покорение Сибири

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2012

© ООО «РИЦ Литература», 2012

Со всем тем я не дерзнул бы украсить труд свой почтеннейшим именем Вашего сиятельства, зная тонкость и разборчивость вкуса Вашего в литературе, если б в то же время не знал и снисходительности Вашей ко всему отечественному и если б в романе сем не занимали самое почетное место знаменитые Строгановы.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего сиятельства, милостивая государыня, покорнейшим слугою Павел Свињин.

Введение

Мудрено поверить, что событие, подобное завоеванию Сибири, заслужило только несколько страниц в «Истории государства Российского», хотя, по-видимому, оно во всех отношениях представляло достойное поприще глубокомыслию и витийству Карамзина. Кажется непостижимым, почему знаменитый историограф наш не воспользовался сим великим событием, удивившим Европу не менее завоевания Америки, и не дал свободы неподражаемому перу своему, чтобы превзойти в красноречии описателя открытия Нового Света? Но удивление прекратится, когда узнаем на опыте скудность, неверность и безжизненность материалов, коими должен был историограф ограничиться. Скажем даже, что удивление наше увеличилось к таланту, умевшему из хаоса противоречий и темных преданий извлечь столько важных истин и составить столько прекрасных картин, ибо по обязанности историка Карамзин должен был каждое слово свое подкреплять документами, каждое определение основывать на свидетельстве неоспоримом, очищенном критикой! Летописи же о завоевании Сибири противоречат одни другим, начиная с положительных начал до малейших подробностей, и вместе с тем не заключают в себе ни одной из сих последних, по которой бы историку можно было представить верную картину сего великого события или обрисовать, хотя бы поверхностно, исполинов, совершивших столь великое дело! Всякому русскому, думаю, всякому космополиту желалось бы познакомиться ближе с завоевателями Сибири: Строгановыми, Ермаком, Кольцом, Грозою, Паном и Мещеряком; но современные им бытоописатели не оставили нам красок для их портретов, и знаменитая эпоха сия утратилась даже в самих преданиях.

По крайней мере, мне стоило большого труда на самом месте собрать несколько подробностей, несколько поверий. Я радовался как приятнейшему открытию, как счастливой находке малейшей догадке, рождавшейся при ближайшем наблюдении следов Ермакова похода. Сами сказки были для меня нередко лучом истины или очарованием поэзии! Одна только природа – природа единственная, величественная – мало изменилась в Сибири и с правдоподобностью переносила мое воображение в знаменитую эпоху завоевания полнокровного царства. «Может быть, об этот камень, – мечтал я, – ударялась также ладья Ермака, когда боролся он со стремнинами Чусовой; может быть, он сидел под этой лиственницей, на этом холме близ Тагила – полон дум великих?» И если мечты эти доставляли мне тогда особенное наслаждение, то теперь, когда я предпринял представить в живой картине покорение Сибири, они сделались для меня драгоценными, необходимыми. Таким образом, предания о князе Ситком, сражавшемся в рядах завоевателей Сибири под славным именем атамана Грозы; об усердии шамана к русским, немало содействовавшего Ермаку в покорении дикарей; о мстительности Мещеряка; об орле, упавшем к ногам завоевателя Сибири в минуту решимости храброй дружины на это великое дело; о любви Грозы к Велике; несколько местных сведений о Строгановых и Кучуме; предания о названии Орла-городка и тому подобное – подали мне возможность выполнить мое предприятие если и несовершенно, то по крайней мере достаточно для того, чтобы извлечь из мрака великие характеры, которые вообще соединяя с доблестями и добродетелями слабости и недостатки человечества, бывают столь драгоценны для романиста и привлекательны для читателя!

Рассмотрев беспристрастно покорение Сибири казаками, найдешь его еще удивительнее, еще чудеснее завоевания Америки Пиззаром и Кортесом. Правда, огнестрельное оружие и устройство войска делали решительный перевес и на сторону казаков, которых дикие также сначала почитали за непобедимых и бессмертных. Но очарование это умалялось по мере их приближения к столице Сибири, ибо, как известно, Кучум защищал ее пушками. Итак, убийственное действие и гром пороха не были главной причиной дивных побед

Ермака, а главная причина оных заключалась в личных его доблестях и мужестве его сподвижников.

Сочту себя весьма счастливым, если успею здесь доказать то и другое на самом деле. Для полноты же картины считаю нелишним присовокупить краткую выписку из «Истории...» Карамзина касательно первых сведений россиян о Сибири.

«Сие неизмеримое пространство Северной Азии, – говорит он, – огражденное Каменным Поясом, Ледовитым морем, океаном Восточным, цепью гор Алтайских и Саянских, – отечество малолюдных племен монгольских, татарских, чудских и американских, укрывалось от любопытства древних космографов. Там, на главной высоте земного шара, было, как угадывал великий Линней, первобытное убежище Ноева семейства после губительного, всемирного наводнения; там воображение Геродотовых современников искало грифов, стерегущих золотое руно; но история не ведала Сибири до нашествия гуннов, турок, монголов на Европу; предки Аттилы скитались на берегах Енисея; славный хан Дизавул принимал Юстинианова сановника Земарха в долинах алтайских; послы Иннокентия IV и Святого Людовика ехали к наследникам Чингисхановым мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского падал ниц пред Гаюком в окрестностях Амура. Как данники монголов, узнав в XIII веке юг Сибири, мы еще ранее как завоеватели узнали ее северо-запад, где смелые новгородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. В исходе XV столетия знамена Москвы развевались на снежном хребте Каменного Пояса, или древних гор Рифейских, и воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верстах от нашей столицы.

Уже сей монарх именовался в своем титуле *Югорским*, сын его – *Обдорским и Кондийским*, а внук – *Сибирским*, обложив данью сию монгольскую или татарскую державу, которая составила из древних улусов ишимских, тюменских или шабанских, известных нам с 1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Батыева Шабана – единовластителя Северной Азии на восток от моря Аральского.

Но еще господство наше за Каменным Поясом было слабо и ненадежно. Кучум, овладев Сибирью, искал благоволения Иоаннова, когда еще опасался ее жителей, насильно обращаемых им в магометанскую веру, и ногаев – друзей России. Но, утвердив власть свою над Тобольской ордой, презвал к себе многих степных киргизов и, женив сына Алея на дочери ногайского князя Тин-Ахмата, уже не исполнял обязанностей нашего данника; тайно сносился с черемисой, возбуждал сей народ свирепый к бунту против государя московского и под смертной казнью запрещал остякам, югорцам, вогуличам платить древнюю дань России.

Царь Иоанн Васильевич, озабоченный важными, непрестанными войнами, не мог распространить ни власти своей над отдаленной Сибирью, ни наказать Кучума. Он уступил это, так сказать, Строгановым – богатейшим всельникам того края, позволив им строить крепости в земле Сибирской, чтобы стеснить Кучума в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность наших. В 1574 году он даровал им жалованную грамоту на землю неприятельскую».

Последствия доказали, с какой пользой и славою умный Строганов воспользовался сею царскою милостью, и вместе с тем заставляют решительно сказать, что без руководства его и пособий предприимчивость и отважность Ермака, храбрость его дружины остались бы без успеха.

После сего трудно поверить, что в великом множестве разного рода бумаг, находящихся при конторах строгановских поместий и заведений, не отыскалось доселе никаких актов, касающихся похода Ермака, по которым бы можно было сделать свод сибирских летописей, приводящих противоречиями своими в недоумение не только историка, но и романиста, желающего основать свое повествование на истинах исторических. Не отыскалось актов, по которым бы можно было решить, которой верить из известных летописей: Строганов-

ской, Есиновской или Ремезовской, различных между собой в самых главных показаниях. Так, например, по показаниям второй и последней (которым следовали Миллер и Фишер), Ермак привел к Строгановым дружину, простиравшуюся до 7 тысяч человек, а следуя первой, которой держался Карамзин, она не превышала восемьсот сорока человек. Столь же великая разница значится во времени той эпохи. Последователи Тобольской летописи утверждают, что Ермак пришел к Строгановым в 1577 году, а Сибирская летопись означает 1579 год годом их пришествия. Первая говорит о двух походах казаков от Строгановых, а последняя об одном. Но как в тех, так и в других столько несообразностей с местными обстоятельствами, что должно было иметь большое терпение, чтобы извлечь истину, согласить разногласия. Возможно ли, например, чтобы Ермак, отправляясь на покорение Сибири, не узнал предварительно сего пути или чтобы Строгановы не дали ему сведущих провожатых, тем более что Сылва и Чусовая давно были ими изведаны и они имели даже селения на той и на другой? Подобная несообразность усматривается в Сибирской, или Строгановской, летописи, где сказано:

«В лето 34 (1582) сентября в первый день, на память преподобного отца нашего Симеона Столпника, посланы из городков своих Семен, Максим и Никита Строгановы в Сибирь на сибирского султана волжских атаманов и казаков Ермака Тимофеева с товарищи и проч., и того же сентября в 9-й день, на память Богоотца Иоакима и Анны, пришли воины в ту Сибирскую землю бесстрашно и многие татарские городки и улусы повоевали вниз по Туре, и дойдя до Тавды-реки в мужестве, и на устье той реки паймаше татар».

Стало быть, Ермак прошел более шестисот верст, поднявшись по Чусовой против ее течения, бурного и сильного, переправился через горный хребет, построил городок, взял многие татарские городки и селения в восемь дней! И это называется летописью исторической, и по этой летописи пишут слепо историю. Сама смерть Ермака представлена в них разнообразно, неудовлетворительно и оставляется на размышления и догадки, сообразные с местностью и обстоятельствами!

Автор сего романа старался по возможности пользоваться тем и другим и ласкает себя надеждой, что читатели, между прочим, найдут в нем удовлетворительное разрешение причин самых, по-видимому, чудных, несбыточных происшествий, равно как и бессмертных подвигов и неудач его героев.

Часть первая

Глава первая

Раздоры, главный город, или столица, донских казаков в XVI столетии. – Царская опала на казаков. – Девичник у атамана Луковки. – Таинственный гость. – Неразгаданный удалец.

На низменном острове, образовавшемся из соединения Северного Донца с Доном, видно было несколько сот землянок, мазанок и изб, обнесенных частым высоким тыном со сторожками по углам. Это был в XVI столетии главный город, или войсковая станица, донских казаков, называемая *Раздорами*. Одно уже название Раздоры некоторым образом объясняет предмет основания столицы удалых наездников, и действительно, не красота месторасположения, не изобилие в продовольствии или какие другие выгоды заставили казаков предпочесть это место всем другим станицам. Нет! Одно соседство с азовцами, мужественными, дерзкими и неутомимыми их врагами, было приманкой для *отвагов*¹, стекавшихся отовсюду вкусить сладость войны непрерывной, неумолкаемой, испытать прелесть опасности и осторожности днем и ночью, насладиться безропотным перенесением всех возможных недостатков, трудностей, ужасов и смертей... Раздоры, населенные столь отчаянными головами, служили стражей и оплотом не только для всей Донской области, но и для России со стороны самых хищных ее соседей: турок, крымцев, ногайцев и черкесов².

Вот причина, почему русские государи дорожили существованием донцев и не столь были строги и взыскательны к ним, сколько они заслуживали своими разбоями по Волге, которые немало препятствовали распространению восточной торговли, делавшейся час от часу выгоднее для государства, особенно после покорения Астрахани. Сколько раз казаки бдительностью своей предупреждали или останавливали опустошительные набеги диких варваров на Украину. Едва *прикормленные люди*³ подадут весть из Азова, что татары хлынули на Русь, – несколько сот или тысяч отважных наездников бросаются на переправы и броды, залегают в скрытых местах и, выждав врага, вымещают ему кровью за раны отечества, берут у него пленников и награбленные сокровища и надолго отнимают охоту к хищничеству! Или, едва пронесутся слухи, что султан собирает грозу на Москву, казаки выкапывают из песка свои лодки⁴ и несутся в Аксак-Денглис⁵ и далее в Понт-Евксинский; прорываются силой или обманом через железные цепи, протянутые в реке у сторожевых башен, нарочно выстроенных турками на Калаче и на мертвом Донце, и берут их корабли, каторги, комяги; собирают дань с Колхиды; палят и разоряют прибрежные города и селения и наводят ужас на сам Царьград. Порта отлагает удар, приготовленный ею на Русь, удерживает ногайцев и крымцев и шлет послов к Белому царю – да уймет казаков разорять Оттоманские области. Но буйные казаки редко внимали увещаниям и угрозам русских государей, и если по насто-

¹ *Отвагами* назывались у донцев храбрецы, люди, ищущие опасности и подвиги подобно странствующим рыцарям Средних веков.

² Нередко казаки напоминали государям русским, что сторожат их древнее достояние – *Тмутаракань*.

³ Доброжелатели, шпионы.

⁴ Возвращаясь из морского похода, донцы закапывали в землю свои лодки, чтобы неприятель не нашел и не истребил их.

⁵ Азовское море.

янию их мирились с азовцами, то для того только, чтобы через несколько дней отослать к ним размирную грамоту⁶ или врасплох напасть и разграбить послов султанских.

Таким образом вывело, наконец, из терпения царя Иоанна Васильевича разбитие казаками в 1577 году богатых бухарских караванов и кизылбашского гонца, ехавшего в Москву по важному делу. Он решился наказать виновных, но, не желая еще истреблять или ослаблять их, требовал только голов атаманов, участвовавших в сем разбое: Ермака, Кольца, Грозы и Матвея Мещеряка. Казаки просили помилования, клялись, что перестанут буйствовать, своевольничать, и обещались выдать все награбленное у персиян имущество, лишь бы прощены были их храбрые атаманы. С такою-то повинною отправили в Москву атамана Бритусова и, хотя казаки надеялись, по обыкновению, получить прощение, дабы снова изменить, но слухи о великой на них опале Грозного и ужасы бедствий Новгорода, провинившегося перед царем, распространяли в Раздорах неведомые доселе страх и трепет.

Несмотря на то, перед домом старшего атамана Луковки, отличавшимся от прочих обширностью двора, обнесенного тростниковым забором, и огромностью тесового крыльца, называемого галереей, весело толпился народ и жужжал, как пчелы перед ульем. Все они от мала до велика спешили туда взглянуть и подивиться на богатые сговоры дочери атаманской. Обряды свадебные, самые простые и бедные, были новостью для жителей Раздоров, ибо казаки еще большей частью избирали жен по старинному обычаю на Майдане⁷, тем естественнее богатство, спесь и страсть атамана Луковки к подражанию московским обычаям возбуждали всеобщее любопытство. В этот вечер отправлялся у него девичник.

Тогда как на рундуке молодые казаки плясали журавля под громкие песни и тихие звуки гребешка и варгана, жених с невестой, причетом и званными гостями сидели в красной избе и готовились приняться за сытный ужин, который если не по изяществу яств, то по изобилию их и изобретательности заслуживает быть описанным с некоторой подробностью.

На длинном дубовом столе, накрытом чистой скатертью, стояли в переднем конце несколько серебряных ковшей и вызолоченная чара с царским орлом, а на заднем – оловянные кружки с медами и огромная медная ендова с пивом. Между ними расставлены были в деревянных ставцах и на шаях следующие блюда: в первом месте большой пшеничный круглик⁸ с рубленным мясом и холодное – студень, сек⁹, лизни¹⁰, приправленные огурцами, копченый лебедь и соленый журавль. Когда блюда эти были опорожнены или обнесены проворной ясыркой из турчанок, то места их заменили разные горячие: жирные щи, похлебка из курицы с пшеном и изюмом, морква¹¹, борщ, лапша, дульма¹²; потом следовали жаренья: гуси, шурубарки¹³, поросенок с начинкой, ягненок с чесноком, часть дикой козы, драхва и кулики, а вместо пирожных подавали блинцы, лапшевник и в заключение *уре-кашу* – просо, приправленное сузьмою, то есть кислым молоком.

Внутренность светлицы представляла также соединение богатства с самой грубой простотой: на тесовых скамьях набросаны были парчовые подушки и узорчатые персидские ковры. Передний угол посвящен был божнице: здесь на двух полках, сколоченных кое-как

⁶ При разрыве мира та сторона, которая начинала войну, обязана была послать другой размирную грамоту. Не послать оной почиталось поступком бесчестным. Но азовцы это часто делали, и тогда казаки поступали с ними без всякой пощады.

⁷ Для сего нужно было только казаку объявить на Майдане (то есть сборном месте), что в жены себе избрал такую-то. Столь же легко и тем же порядком разводился он с нею, после чего всякий другой мог жениться на отказной, прикрыв ее полый плащ, что значило снять с нее бесчестие развода.

⁸ Пирог круглый.

⁹ Филейная часть в разваре.

¹⁰ Языки.

¹¹ Суп из баранины.

¹² Из капусты с рубленным мясом.

¹³ Утки.

из сосновых досок, блистало от сияния лампы несколько образов в серебряных окладах и жемчужных убрусах, украшенных сверх того свежими полевыми цветами; под образами лежало множество караваев, принесенных гостями жениха. По голым стенам развешано было дорогое оружие и конская сбруя всех соседних народов: вот под ногайское или черкесское седло подложена крымская или турецкая попона; там русская пицаль, рог и вязни обнимались с персидской саблей; в углу булатный нож и драгоценный турецкий сайдак держались на заржавленном гвозде с грубой украинской рогатиной; так что сие смешение, доказывая звание и достояние хозяина, представлялось как бы в искусственном беспорядке.

Не пора ли после сего познакомить читателя с лицами, присутствовавшими на празднике у атамана Луковки. Начнем с него самого: представьте себе старика с белою как лунь головой и серебряной бородой, с румяными щеками, широкоплечего, бодрого, веселого, и будете иметь верное изображение Луковки. На нем была шелковая рубаша, подпоясанная шелковым же поясом. По правую руку его сидел жених. Сей последний был одет по-казацки самым щегольским образом, по тогдашнему обычаю: на нем был атласный кафтан с частыми серебряными нашивками; за шелковым турецким кушаком заткнут был булатный нож с черенком рыбьего зуба, а на ногах – красные сафьянные сапоги. Но, несмотря на полный казацкий наряд, с первого взгляда можно было угадать, что этот молодой человек был чужд сему обществу, что он вскормлен не на берегах тихого Дона. Его серые глаза, хотя беглые, не блистали огнем, который отличает обитателей Дона от всех других племен, составляющих обширное Русское царство, который служит казаку вывеской необыкновенной сметливости, предприимчивости, быстроты. Нет! Эти усы и кудри, красные как огонь, эта русая мягкая борода на белом лице, не принадлежат донцу, с малолетства подвергающемуся влиянию стихий, ветра и солнца. Этот взгляд исподлобья не сроден казаку, имеющему чело открытое, светлое. И точно, атаман Луковка называл молодого зятя своего князем Ситским, за которого, говорил он, просватал дочь свою Велику, бывши тому два года назад в Москве. И прекрасная Велика сидела возле жениха своего в самом богатом наряде: парчовый кубылек и бархатный танк с куньим околышем, из-под коего висели дорогие жемчужные чикилики; но блестящий наряд совершенно противоречил унылому виду красавицы. Алые щеки ее покрыты были смертной бледностью, а черные глаза, горевшие до того как полночные звезды, зарделись вокруг и редко, редко выказывались из-под длинных ресниц. Все приписывали сию перемену девичьей стыдливости или горести невесты, покидающей дом родителей, расстающейся с удовольствиями юности. Но нет! Эта унылость открывала муку душевную, была вывеской сердца растерзанного. В продолжение всего праздника не выкатилась из очей Велики ни одна капля слезы отрадной, ни одна улыбка не оживила прелестных уст ее: она походила скорее на жертву, обреченную на смерть, чем на невесту, обрученную жениху.

И страдания Велики понимал только один мужчина средних лет, величавой, благородной наружности, несмотря на его небрежный, воинственный наряд и неизменявшуюся угрюмость, противоречившие совершенно щеголеватости и разгульной веселости прочих гостей. Всякий раз, как незнакомец бросал на невесту или жениха свои дикие взгляды, густые брови его хмурились пуще вершины Казбека при дуновении индийского бурана, широкое чело его бороздилось морщинами, словно море Хвалынское черною зыбью – предтечей ужасной бури. Ни одна также улыбка не сорвалась с полумертвых уст его, закутанных в черную окладистую бороду; жилистая рука, казалось, срослась с его саблей, висевшей на ремennom шебалшаше вместе с серебряным рогом для пороха, стальным мусатом¹⁴ и сафьянным гаманом для пуль. Короткая черкесская епанча смурого цвета, ничем не отсвеченная, придавала еще более суровости его бледному лицу, на котором, словно в зеркале, отражалась буря мрачных, глубоких дум и душевных страданий. Незнакомец, наблюдая умеренность в речах,

¹⁴ Огниво.

был еще умереннее в пище и питье. Он едва прихлебывал из кругового бокала и даже не выпил до половины золотой чары, когда атаман Луковка провозгласил священные для всех казаков тосты: *Здравствуй, царь государь в белокаменной Москве, а мы, донские казаки, на тихом Дону, и здравствуй, Войско Донское сверху донизу и снизу доверху!* При сем всякий казак обязан был опорожнить до капли поднесенную ему посудину, если ковш, то обернуть его на ноздь, а ендову надеть себе на голову – в свидетельство, что выпил досуха. Всего удивительнее казалось то, что его к тому не принуждали ни хозяин, ни словоохотливый сват, заведовавший питейной частью. В доказательство же, что причиной сего было не невнимание или неуважение их к незнакомцу, сей последний занимал одно из почетнейших мест по левую сторону хозяина, и как тот, так и другой относились к нему с речью.

В числе прочих гостей, пестревших в персидских, турецких и русских платьях, заслуживал внимания досужий сват со стороны жениха, Матвей Мещеряк, одетый в лазоревый, настрафильный зипун¹⁵, хотя рожа его, покрытая рябинами, словно сеткой, не согласовалась со столь пышным нарядом, и черноокие чиберки¹⁶, разряженные в алые и малиновые кубылеки, в голубых с белыми или алых с зелеными каймами персидских платках. Они не принимали участия ни в ужине, ни в разговорах и, сидя на лавках вокруг светлицы, прилежно занимались рукоделием: одни шили свадебный кубылек, другие строчили ожерелок кривым танком, бурсачками и разводами. Изредка только перешептывались между собою или заглядывали украдкой в полурастворенную дверь на рундук, где плясала и веселилась удалая молодежь; а иногда, наволакивая подушки, припевали заунывные песни.

Под конец ужина, когда невеста по приказанию отца сама поднесла незнакомцу серебряный ковш с искрившимся *сарибалом*¹⁷, и он, по обыкновению, отведав его, поморщился и подал назад прекрасной подносице, то хитрый и осторожный сват, потеряв, вероятно, терпение от действия крепких медов, сказал:

– На все ты, Кошевой, у нас молодец, а не знаешь только, как подслащивать горечь медовую?

– Знал, приятель, знал, – отвечал он со вздохом, – но кто вместо сласти испил пушную горечь, тот станет подслащивать свою жизнь только одною саблею.

– Я давно заметил, – подхватил с громким смехом Луковка, – что Кошевой лучше любит пересылаться с турками и татарами свинцовыми пулями, чем с красными девушками сладкими поцелуями.

– Отгадал, атаман, – сказал незнакомец с дикой улыбкой, – от свинцовой бабы хоть и угоришь, да не одуреешь!

– Не ровен поцелуй, – заметил Мещеряк со смехом, – от иного женишься вместо ясырки черноокой на Паше хромоногом.

– Казаку честнее быть в плену у бусурманина, чем у бабы, – отвечал с суровостью угрюмый Кошевой.

– Да давно ли, товарищ, разлюбил ты наших жен и девок? – спросил Луковка. – Сколько лет как ты каждый день нянчился с моими ребятишками и Велике на зубок подарил татарскую позинку?

– С тех пор, – отвечал незнакомец с неожиданной живостью, – как казаки стали держаться московских обычаев, стали жениться не как наши предки по любви и согласию на Майдане, стали отдавать дочерей за богатство и за и... – Тут он остановился, взглянув с участием на Велику.

¹⁵ Кафтан.

¹⁶ Чиберками назывались девушки, созданные для шитья приданого.

¹⁷ Под сим именем известен был на Дону лучший мед.

Разговор сей прервался шумным приходом казака в косматой бурке и в медвежьей шапке на голове. Он был небольшого роста, но высокая грудь и широкие плечи показывали в нем атлета. Поставив у порога длинный чекан свой и фузею, пришелец помолился святым иконам и поклонился низко на все четыре стороны всем, начиная с хозяина, который, хотя по-видимому, более удивился, чем обрадовался новоприбывшему гостю, но встретил его обыкновенным казацким приветствием:

– Добро пожаловать атаман-молодец! Скоро же вернулся с гульбы¹⁸, а кажись, на Медведицу отправилась с вами не одна коша¹⁹. Да подобру ли, поздорову ли?

– Слава богу, – отвечал пришелец, – больших трудов не было, прогулялись только до Черного Ерика, а далее дожди помешали.

– Давно ли атаман Кольцо стал бояться воды небесной? – спросил сурово незнакомец. – Кажись, он не размокал прежде и от морской?

– Да тетива-то размокает, а с фузеи все вспышки да вспышки. У нас три недели дождь ливнем лил. Этакой весны за Камой не слыхивали, да и лета жди грозного.

На последнее слово Кольцо сделал ударение нарочно, чтобы обратить на себя взоры незнакомца, который прочел, казалось, в глазах его что-то мрачное и зловещее и невольно содрогнулся.

– Да поживились ли вы хоть чем-нибудь? – спросил Луковка.

– Не стоит и говорить, на брата досталось по два волка да по лисице, и если б камышники²⁰ не поймали в капкан кабана, то пришлось бы кормиться зайчиною²¹.

– У меня слюнки текут, как говорят про кабанятину, – сказал с насмешкой Мещеряк. – Отведал бы право хоть кусочек этого лакомого блюда.

– Некогда будет, – возразил Кольцо, и взор его встретился снова со взором незнакомца, и тот снова прочел в нем что-то необыкновенное.

– От чего некогда? – спросил Луковка.

– Когда же? Чай долго прображничаете и после свадьбы, а там, слышно, женится есаул Брызга на черкешенке, что живет у старшины Кушмацкого в домоводках. У него так же пойдут пиры, а там...

– Полно скупиться-то, товарищ, – сказал, улыбаясь, Луковка, – свари-ка добрую варю косатчатого²², да и позови на вепря.

– Не для чего мне скупиться, атаман, – отвечал Кольцо, – я не коплю себе собины, у меня все общее с односумами²³.

Луковка нахмурился.

– Посторонитесь, посторонитесь, – раздалось на рундуке. Дверь, как ветром, распахнулась настежь, и в нее влетел казак с лицом, наглухо завязанным платком. Девушки ахнули, мужчины подались в сторону, а бледные щеки невесты вспыхнули румянцем, как заря закатывающегося солнца. Удалец, не говоря ни слова, не сделав никому поклона, с присвистками пошел казачка. Проворны и вместе с тем благородны были его телодвижения. Он то вихрем носился по светлице, расстилаясь на каблуках; то, величественно подпершись левой рукой, причем гибкий стан его, опоясанный алым шелковым кушаком, изгибался как тростинка камышовая, бил дробь обеими ногами и в меру пристукивал сафьянными каблуками; то, поднимаясь с удивительной легкостью вверх, опускался на острые носки. Во всех его

¹⁸ Гульбою называлась звериная охота.

¹⁹ Кошами назывались большие ватаги звероловов или артели.

²⁰ Охотники, употреблявшие для ловли зверей капканы и тенета.

²¹ Есть зайцев и теперь в некоторых местах считается грехом, а казаки ставили это в бесчестье.

²² Самый лучший мед.

²³ Односумы – товарищи, у которых не было собственности, а добыча и имущество хранились вместе.

прыжках видна была чрезвычайная сила, искусство и огонь юношества, а шапка из черных как смоль смушек, сдвинутая набекрень, выказывала русые кудри, завитые бесчисленными кольцами рукой природы.

– Диво! Удалец! – кричали старики и вообще все гости, любуясь на живописную пляску казака.

– Должен быть хорош, – шептали девушки.

И все старались узнать, кто был этот удалец. Даже угрюмый незнакомец, показывавший доселе равнодушное презрение к свадебным забавам, любопытствовал узнать о нем, но никто не мог отгадать. Ах! Ему стоило только взглянуть на невесту, чтобы увидеть, что таинственный удалец отгадан, что состояние бедной Велики было самое жалкое, страдательное: она ежеминутно боялась изменить себе, ибо сердце ее с первого взгляда открыло в нем своего любезного. Да и кто другой в состоянии подражать ему, кто другой мог быть столь ловок, мил и прекрасен?

Может быть, не почувствовал ли и сам жених некоторой ревности, только ему крайне хотелось узнать своего соперника, и он предлагал силой или обманом снять с него повязку. Но ему сказали, что этого на Дону не водится, что никто не имеет права употреблять насилия, если незнакомец хочет остаться неузнанным, и удалой весельчак, не говоря ни слова, с присвистками исчез в той же двери, в которую влетел прежде.

– Ай да хват! – сказал старик Луковка, смотря вслед казаку. – Настоящий донец!

– Ударюсь об заклад, что и на гульбе и на войне этот удалец – первый сорвиголова, – прибавил незнакомец. – Странно, что его никто не узнал?

Тут взор его встретился со взором Велики, и он увидел, что ошибся.

Между тем гости стали собираться идти в дом жениха, а вместе с ними и родственники невесты.

Женщины входили в светлицу с приданым, припевая:

Сестрицы подружки,
Несите подушки,
Берите перины
Сестры Катерины... —

и отправлялись вперед. Несколько раз жених должен был с дороги ворочаться, чтобы целовать грустную Велику. Веселые чиберки кричали ему вслед, чтоб он воротился, что ушел – не простился.

У крыльца Луковка и прочие старшины хватились незнакомца, желая, вероятно, дать ему почетное место, но его уже не было: в суматохе он исчез вместе с атаманом Кольцом.

Глава вторая

Опричники увлекают митрополита Филиппа из обители Святого Николая Старого. – Негодование и скорбь народа. – Опала на родственников и друзей святителя. – Атаман Луковка пирует у князя Ситского. – Заочная помолвка. – Заточение Ситского в Соловки.

Прежде чем станем продолжать повествование происшествий на берегах тихого Дона, считаем нелишним перенести внимание своих читателей в Москву белокаменную и, для связи хоть вкратце, упомянуть о происшествии, случившемся за несколько лет до эпохи, нами описываемой.

В одну из самых мрачных и ненастных ночей, какие только бывают в начале ноября месяца, когда в столице царства Русского все спало сном крепким, непробудным, в тесной келье монастыря Святого Николая Старого, перед иконой Богоматери теплилась неугасимая лампада и бросала бледные лучи свои на величественное чело труженика в черной власянице, стоявшего перед ней на коленях и читавшего нараспев дрожащим голосом псалом Давидов: *«Господи, прибежище был еси нам»*. Крупные слезы капали на седины его; несмотря на это, совершенное спокойствие и небесное умиление разливались по благообразному лицу его. Как будто для противоположности, стояли в узких дверях кельи двое мужчин, коих можно было принять за иноков по их черным длинным рясам, если б из-под сего смиренного одеяния не выказывались парчовые кафтаны с собольей опушкой, а на головах их вместо монашеских каптырей не открывались остроконечные шлыки. Наконец, зверские лица обличали в них злейших опричников царских, присланных в святую обитель за митрополитом Филиппом, дабы влачить его в Отрочь-монастырь, далее от любви народной и ближе к мести Иоанна, которого святой муж дерзнул упрекать в лютости.

Судя по продолжительному терпению, с каким ожидали опричники окончания молитвы святителя, можно было подумать, что добродетель имеет силу и над ожесточенными сердцами закоснелых злодеев. Более часу они оставляли его в покое, между тем на востоке начала заниматься заря.

– Князь Темкин, – сказал один из сих опричников, – не пора ли разбудить старика, уж не морочит ли он нас?

– Статочное ли дело, – отвечал другой с улыбкой, – дадим ему еще потешиться напоследышек. Мне, право, забавно смотреть, как он умильно глядит в эту толстую книгу, словно ты в золотую стопку батюшки царя!

– Шутки в сторону: народ стал подходить толпами к монастырю. Слышишь, как воркует?

– Пусть воркует, доколе не разгонять его метлами²⁴.

– Людей-то я не боюсь. По милости премилосердного батюшки царя нашего они разбегутся пуще зайцев при виде одного нашего брата с собачьей головой²⁵, да, вишь, черт-то не свой брат!

– Какой черт тебе грезится? – спросил с усмешкой Темкин.

– Коли подумаешь хорошенько, то согласишься, что и нас старичишка приковал к своей притолоке чем-нибудь другим, а не молитвой.

²⁴ Опричники, между прочим, вооружены были метлами.

²⁵ Которая нашивалась на одной поле кафтана.

– У страха глаза велики. Чай и псалтырь-то, в которую он уткнул глаза, тебе кажется черной книжицей с кровавыми каракулями?

– Смейся, князь, смейся, а псалтырь-то не укротила бы голодного медведя, которому царь пожаловал было на ужин этого чернокнижника на прошлой неделе²⁶, инда сам сидивался.

В эту минуту слышались рыдания на монастырском дворе.

– Слышишь ли, Темкин? – сказал с угрозой первый опричник. – Если б одному тебе отвечать за колодника, я бы, пожалуй, оставил тебя любоваться им хоть целые сутки, а то и мне быть без головы, коли что случится.

– Правда твоя, Грязной, правда, пора, очень пора, – отвечал князь и, как будто пробудясь ото сна, вскричал: – Чернец, да будет ли конец твоей молитве? Собирайся или берегись...

– Приговор второго Ирода, – раздалось из отверстия, служившего вместо окошка.

Опричники кинулись к окну, а Филипп смиренно отвечал:

– Я готов. – И вышел с ними из кельи.

Ни угрозы кромешников, ни самые ужасные побои не сильны были удержать народа, теснившегося вокруг святителя для испрошения у него благословения. Уже он садился на приготовленные для него дровни, как пробился сквозь толпу человек лет пятидесяти и пал к нему в ноги. Золотая цепь на груди показывала его высокое достоинство, так что самые жестокие стражи не смели не допустить его до своего пленника. Святитель затрепетал, увидя его, и, подняв глаза к небу, как бы для прочтения судеб, осенил его крестным знамением, и произнес тихим голосом: *«Мы скоро увидимся!»*

– Боярин Ситский, – сказал с адским хохотом Василий Грязной, – не пришел ли ты дать поручения брату Калугеру к отцу Вельзевулу?

– Зачем перебивать дорогу у вас, достойнейших чад тьмы кромешной! – отвечал Ситский с презрением.

Опричники переглянулись между собой, узнав в голосе боярина тот самый, который дерзнул сравнивать Иоанна с гонителем Спасителя. Подозрение их увеличилось еще более, когда народ, как будто ободренный укоризной боярина, сделался с ними смелее и угрожал вырвать из рук их жертву. Может быть, это и случилось бы, несмотря на увещевания Филиппа отважных своих читателей – смириться, повиноваться воле государя и молиться, если б стражи не решились на самый отчаянный поступок. Князь Темкин вырвал вожжи у возницы, а Грязной, вскочив в сани к митрополиту, обнажил свою саблю и клялся изрубить его при насилии с ними. Между тем борзый конь, понукаемый непрерывно Темкиным, рвался вперед, давил дерзновенных, покушавшихся преградить дорогу, и при первой свободе понесся во всю прыть так, что народ, долго бежавший еще за святителем, хватаясь за повозку его, наконец потерял его из виду.

Не только сего происшествия, не только слов Ситского и благословения Филиппа, достаточно было быть родственником или почитателем его, чтобы попасть под опалу, которая готовилась Иоанном для всех бояр, бывших с ним или с родом Колычевых в какой-либо связи.

Вскоре после этого атаман Луковка, удостоившись со всей легкой станицей²⁷ узреть светлые очи Грозного и получив серебряный ковш, а для прочих дорогие подарки из соболей, сукна, камки, тафты и прочего, собирался отправиться восвояси – с царским жалованным словом и похвалой всему великому Донскому Войску.

²⁶ См.: Н. Карамзин. История государства Российского.

²⁷ Легкой, или зимовой, станицей назывались посольства от донских войск к русскому самодержцу и почитались важной наградой.

Накануне своего отъезда он пировал на прощальном пиру у князя Ситского, с которым читатель недавно познакомился и который заведовал Казацким приказом. Когда старики остались одни, как говорилось, побеседовать за ендовой романей, то разговор сделался живее и чистосердечнее. Атаман Луковка, хвалясь привольем житья на тихом Дону, между прочим описал свободу, которой пользуются все на его родине.

– Храброго молодца, – сказал он, – который пристанет к великому Донскому Войску, не спрашивают, кто он, откуда, а говорят только: будь честен и верен. И если он свято исполняет наши обычаи, то на Дону не достанет его ни железный костыль, ни острый топор вашего Грозного.

Речь эта сделала большое впечатление на ум князя Ситского, и он тогда же составил план для спасения своего единственного сына от опалы, которую ждал ежеминутно на свое семейство, несмотря, что был в родстве с любимцем Иоанновым Борисом Годуновым, сильнейшем тогда вельможей при дворе царском. Короче сказать, отцы тут же помолвили детей своих заочно, хотя величайшие расстояния разделяли их между собой, ибо молодой Ситский, князь Владимир, снedaемый любопытством и горя мужеством, взялся охотно вести в великую Пермь небольшую дружину, которую Иоанн отправил к Строгановым, в помощь против мятежного царя сибирского, не хотевшего более платить ему древнюю дань. Самолюбивый Луковка хотел удивить Дон, выдав дочь свою, прекрасную Велику, за сына знаменитого и богатого боярина московского, а может быть, имел и другие честолюбивые виды, приобретя столь сильное родство при дворе царском. Старики ударили по рукам и поклялись перед иконой Спасителя не отступать от своего условия ни под каким видом, ни для каких причин. Ситский должен был послать тотчас же ходока к сыну с приказом немедленно вернуться в Москву, а отсюда уже отправить его на Дон к атаману Луковке, с грамотой за его родовой печатью, воскояровый слепок которой тогда же был вручен будущему свату; а Луковка обещался дожидаться жениха три года.

Чего страшился Ситский, то и случилось. Казалось, Иоанн безмолвствовал некоторое время после изгнания митрополита Филиппа, дабы изобрести новые наслаждения для своей свирепости. Дотоле губил людей, оттоле – целые города²⁸; Годунову стоило большого труда переменить казнь его на вечное заключение в Соловки. Старого князя оковали в железо и отправили туда под надзором его доносчика, опричного Грязного, о котором читатель легко вспомнит. Переправляясь через Белое море, они были застигнуты ужасной бурей, и утлое судно их опрокинулось у самых берегов обители. Боярин погиб от тяжести цепей, а опричник возвратился в Москву с новым доносом, что молодой Ситский скрывается на Дону. Он открыл это из письма старого князя, приготовленного для Владимира к будущему тестю, которое он вынул у него из кармана, или лучше сказать, отнял с великим множеством драгоценностей, взятых с собой злополучным отцом для передачи своему сыну.

Царь, узнав о смерти Ситского, некогда им любимого и уважаемого вельможи, сказал: «Собаке – собачья смерть», – и отобрал у опричника все его сокровища, обещался при первом случае вознаградить его за верность. И действительно, когда получено было от Строганова донесение, что князь Владимир Ситский внезапно скрылся, то он отправил его гонцом в Азов через Раздоры, приказав захватить в этом городе молодого Ситского, за что обещал осыпать его своими царскими милостями.

²⁸ См.: Н. Карамзин. История государства Российского.

Глава третья

Страшная ночь на кладбище. – Велика у могилы своей матери. – Встреча любовников. – Совет Ермака с Кольцом. – Самозванец открыт.

В первой главе мы видели, как кончился сговор дочери атамана Луковки за московского боярина.

К ночи от скопившихся в воздухе паров после жаркого весеннего дня на горизонте собрались черные тучи и неслись с моря прямо к Раздорам. Скоро закипел тихий Дон, засверкали молнии. Плески волн с шумом разбивались о ракитовый тын, которым обнесено было кладбище, находившееся на мысе, или оконечности острова, а резкий ветер, скользя по длинным ветвям древних ив, колебавшихся над белыми крестами голубцев²⁹, срывал с них резкий свист. Надобно было обладать величайшим бесстрашием, чтобы решиться приблизиться, а тем более оставаться долгое время в сей ужасной юдоли смерти. Но вот уже несколько часов, как, прислонясь к одной из развесистых ив, в задумчивости стоял молодой казак. Поникшая голова и колебавшаяся грудь показывали глубокую печаль его. Сильно ревел ветер вокруг него, но он прислушивался к какому-то тихому шороху; темна была ночь, но глаза его искали что-то вдалеке. «Нет! – говорил он сам с собой. – Во что бы то ни стало, что бы ни приключилось после, а мне должно ее увидеть, должно ей открыть свою душу. Простою всю ночь, не выйду отсюда и завтра до полудня, а ее дождусь. Я знаю Велику: она не побоится никакого ненастья, разве устрашится принести клятву, противную сердцу?..» Он остановился: две бледные тени мелькнули при входе в голубец. Казак напрягает все свое внимание, и верное ухо его сквозь рев бури, сквозь плеск валов слышит каждое слово, произнесенное ими, отгадывает малейший их шепот.

– Войди, Фатима, не бойся, – сказал приятный голос. И казак, не выдержав своего восхищения, воскликнул: «Так это она, это Велика!»

– Как не бояться, – отвечал другой, хрипловатый, старой ясырки из турчанок, с которой пришла сюда атаманская дочь выполнить обычай своих предков, поклониться их тихим могилам накануне своей свадьбы. – Пришла же тебе охота идти в полночь и в такую грозу на голубец, – продолжала она.

– Ты сама видела, что прежде мне нельзя было урваться, – отвечала Велика. – Ведь только что пришли от жениха.

– Зачем же не отложила до завтра?

– Затем, что нельзя. На Дону такой обычай, чтобы тотчас же с девичника идти на голубец.

– Хорош обычай морить со страху. Довольно того, что и от постов ваших по средам и пятницам еле жива шатаюсь. Уф! Не свежая ли это могила видится прямо, и правверный, может, не допрошен еще Монкаром и Накаром³⁰?

– Коли ты впрямь боишься идти на кладбище, то подожди меня здесь, я скоро ворочусь. – И с этими словами Велика оставила свою подругу.

Влюбленный казак несколько раз порывался лететь навстречу своей любезной, но он ожидал, пока она удалится более от своей провожатой, или невольный страх его удержи-

²⁹ То же, что нынешние надгробные памятники.

³⁰ У мусульман существует поверье, что всякий покойник в первые три дня после его кончины допрашивается в гробу Монкаром и Накаром для решения, может ли он попасть прямо в рай или должен наперед подвергнуться испытанию в аду. Для сего гроб делается так, чтобы покойник мог сидеть в нем прямо и отвечать на вопросы.

вал. Между тем Велика подошла к голубцу своей матери и бросилась на него, самым умиленным голосом испрашивала помощи ее к перенесению своего злосчастья и ниспослания ей сил для выполнения воли отца неумолимого, забыть того, которого она не должна уже любить более...

– Нет! Ты должна любить его, он достоин любви твоей, – раздался голос, и Велика при блеске молнии, которая осветила окрестности как будто тихим, радостным лучом надежды, увидела перед собой казака. Первым движением ее был испуг, но когда она узнала в нем Грозу, тотчас пришла в себя и с необыкновенным присутствием духа и достоинством произнесла:

– Владимир, или тебе любо увеличивать мои страдания?

– Жестокая, – отвечал казак, – как ты могла это сказать и подумать: я пришел избавить тебя от напасти, я пришел спасти тебя.

– Что ты хочешь сказать?

– То, что нареченный твой жених есть обманщик, плут, а не князь Ситский, за которого он выдает себя.

– Возможно ли? Но он привез батюшке грамоту от отца своего!

– Говорю тебе, что все это подлог. Я спешил день и ночь с Камы, как прослышал, что у нас в Раздорах появился Ситский и что тебя за него уже просватали. Вчера я нарочно приходил к вам на девичник с завязанным лицом, чтобы меня не узнали...

– Я тебя узнала с первого взгляда.

– Но никому не сказывала?

– Нет!

– И хорошо сделала. Прежде чем я открою твоему отцу об этом мошеннике, я хотел тебя увидеть, хотел узнать, точно ли ты меня любишь?

– Ах, Владимир, к чему теперь это признание, уже поздно.

– Нет, не поздно! Коли ты меня любишь в половину того, как я тебя, клянусь нашей любовью и моей саблей, что разрушу вашу свадьбу, истребую твою руку.

– Поди, поди поскорее к батюшке.

– Милая Велика! В залог, что ты говоришь правду, поцелуй меня.

– Чего ты требуешь, Владимир, вспомни, что я невеста другого.

Но Владимир держал уже руку прелестной Велики, уже она ощущала трепетание его сердца, которое, как электричество, пробегает по всем фибрам влюбленных, уже она была не властна владеть собой, и жаркий поцелуй запечатлел первое признание в любви невинной девы. Владимир хотел что-то говорить, хотел, может быть, повторить право счастливица, но послышавшийся невдалеке шелест шагов заставил его скрыться в ближайшую чащу деревьев, а Велика возвратилась к своей провожатой.

И действительно, к тому месту, где были наши влюбленные, приближались два человека сурового вида. Они были в жарком между собой разговоре.

– Послушай, Ермак Тимофеевич, – говорил один, в котором, несмотря на темноту, Гроза легко узнал атамана Кольцо, а в другом, к которому сей последний обращал речь свою, того угрюмого незнакомца, которого мы видели на празднике Луковки столь молчаливым и задумчивым. – Послушай меня, право, я говорю дело. Поверь мне, что московское войско идет не на Азов, а на Раздоры.

– Этому мудрено поверить, любезный Кольцо, – отвечал Ермак. – Для какой корысти Белому царю нас разорять? Нет! Верно, тебя обманули.

– Уверю, что я собственными ушами подслушал разговор двух старшин русских; они утверждали, что воеводе Мурашкину, который ведет рать, велено настоятельно требовать выдачи опального князя Ситского, который укрывается будто на Дону, и головы четырех

атаманов: нас с тобой, Грозы да Мещеряка, которые участвовали в разбитии казылбашского посла, иначе разорить Раздоры.

– Двум смертям не бывать, одной не миновать... А что слышно о Бритоусове? – спросил Ермак, подумавши.

– Ничего не слыхал.

– Видно, посланец наш не добился до боярина Годунова с моей грамотой, иначе советник царский верно бы отсоветовал Думе презирать честным словом, клятвами атамана Ермака! Я ручался за донцов своей головой, что впредь ни посланцы, ни торгаши, проезжающие через наши области, не будут разоряемы ими – и сдержал бы обет свой: казаки послушались бы меня. Три года просил на испытание... – Успокоясь немного, он продолжал: – Знаешь ли, Кольцо, мне сдается, что тот молодец, которого Луковка выдает за Ситского, есть самозванец, переметчик, подсланный к нам из Москвы.

– Но Луковка говорит, что он представил ему все доказательства, условленные между ними со старым Ситским.

– Да! Грамоту под условленной печатью. А разве он не мог снять перстень с руки убитого боярина? Воля твоя, а в этом обманщике нет ничего боярского, он смотрит исподлобья... Слышно, что то и дело понукает старика Луковку крутить поскорее свадьбу. И это не даром.

– По крайней мере, за этого Ситского казаки не постоят, выдадут голову; а над нами авось батюшка царь взмилуется, простит нас.

– Нет, Кольцо! Московцы не нам чета, не обманутся в нем, они не примут его за опального боярина, а потребуют настоящего: его же всем нам будет жаль...

– Что ты хочешь сказать, Ермак Тимофеевич?

– То, что я подозреваю Грозу.

– Быть этому нельзя, он настоящий казак. Многие в станице помнят его отца, на которого он, говорят, похож как две капли воды лицом и удалством.

– Правда, он славно представляет донца не только с саблей в руках, но и с варганом в зубах. Правда, он еще недавно с нами, но на последней сшибке действовал и головой, как опытный атаман; но взглядишь в него поприлежнее, поговори с ним без свидетелей – и заметишь в поступках его и речах много отличного от нашего брата казака. Даром, что он молод, а лучше старика ведает бусурманское царство, расскажет тебе, что творится за морем, на краю света; священные же книги знает, кажись, наизусть, да и сам говорит как по книге.

– Из этого нельзя еще заключить, что он – князь Ситский. Грамоте священной и всякой мудрости он мог научиться в Черкасске у попа московского, который бежал туда после опалы митрополита и, говорят, был очень книжен.

– Конечно, да я подслушал Грозу два раза: однажды он проговорился в молитве, прося Господа о помиловании души отца своего, павшего от гнева Грозного; в другой раз, во сне, бредил московским двором, своими родными, ближними...

– Удивительно, если б ты не надоумил меня, то мне никогда не пришло бы в голову подозревать его. Жаль, что Грозы нет теперь здесь. Посмотрели бы, что сделал бы он со своим самозванцем?

– И в этом ты ошибаешься. Я голову заложу, что давешний молодец, который орлом влетел в светлицу с завязанными глазами, был никто другой, как Гроза.

– Невозможно, да он пошел от нас на гульбу со своей кошей далее за Каму.

– Еще скажу тебе мудрее. Он любит дочь атамана Луковки, и любим ею взаимно... Надобно спасти их, не теряя времени, а о прочем потолкуем завтра в станичной избе: утро вечера мудренее. Покамест сходи к Луковке, и если он еще ничего не ведает про обман, то позови его сюда: я буду дожидаться вас здесь до свету.

Ермак сел на ближайший голубец и погрузился в самую глубокую думу. Он то изобретал способы пособить Грозе, то изыскивал средства отклонить от Раздора грозу Грозного.

– Жаль бедняка, – проговорил он сам с собой, – от всякой беды можно еще укрыться, есть надежда избежать ее, всякую напасть можно перенести, но потеря любезной, но измена ничем не искупаются, никогда не забываются. Как ржа булат съедают они ретивое. – Тут он тяжело вздохнул: – Что слава, богатство и сами почести, когда беспокойно вот тут, под этой зыбучей броней. Злодей, соблазнитель! Зачем разрушил мое счастье на века, зачем ввел меня в преступление, которое напрасно я оплакиваю более десяти лет, напрасно хочу смыть невинную кровь в пылу кровопролитий и опасностей, напрасно ищу смерти! Ах! Зачем Мещеряк открыл мне глаза? Лучше бы не знать, не ведать своего позора: я был бы счастлив своим заблуждением, я любил бы и считал себя любимым... Нет! Он поступил как лучший друг мой, он снял с меня оковы, недостойные казака, постыдные для человека... Он мой благодетель! Я теперь свободен, как птица поднебесная, я не пресмыкаюсь более у одного слабого, ничтожного творения. Одна слава питает эту душу: но если рука моя поразила сердце, бившееся постоянством, если в упоении ревности я поверил наветам злодея... Боже! Скоро ли сия мысль перестанет меня преследовать?.. – Он остановился, но, подумав немного, продолжал: – Так! Во что бы то ни стало, а составлю благополучие Грозы, испытаю, может ли счастье другого коснуться моего ретивого? Если жадный Луковка потребует богатства, то отдам Владимиру все, что ни имею. На что мне драгоценные зипуны, штофы, атласы, золотая и серебряная сбруя, когда они не утешают меня, когда могут составить блаженство храброго товарища?

Едва он вымолвил слова эти, как почувствовал себя в объятиях человека, крепко его сжавшего. Гроза не мог долее выдерживать чувство своей благодарности, не мог долее сомневаться в искреннем к себе участии Ермака. Он кинулся к нему на шею, восклицая:

– Ты не ошибся, Ермак Тимофеевич, ты благодетельствуешь благодарного.

– Как я рад, – отвечал Ермак, – что ты меня подслушал. Скорее дело к концу. Но скажи, Владимир, одним словом, ошибаюсь я в тебе или нет?

– Нет, благодетель мой, ни в чем. Грешно бы было мне скрываться долее от тебя. Так, я точно тот несчастный Ситский...

– Бог милостив, все поправится, теперь откройся мне, каким образом ты так искусно прикинулся под ложным именем Грозы и нет ли у тебя какого ни есть доказательства для убеждения Луковки, что ты настоящий князь?

– Когда весть об опале нашему дому достигла до Строгановых и им приказано было немедленно выдать меня воеводе Чердынскому, тогда великодушный Денис Орел, первый друг и советник Максима Яковлевича, скрыл меня и выпроводил на Дон под именем казака Грозы, утонувшего перед тем в Каме. В уверение же того я сохранил грамотку, которую покойный батюшка писал ко мне в великую Пермь.

– Да сказано ли в ней, сколько ни есть, о сватовстве их с Луковкой?

– Как же! Покойный батюшка упомянул даже о грамоте, которую отправит со мной на Дон.

– Хорошо! Но для чего же ты мне доселе не открылся? Ты ведал, что я полюбил тебя с первой нашей встречи на Волге и не умею изменить.

– Прости меня, Ермак Тимофеевич, но ты сам ведаешь, что ныне не те времена, когда все гонимые и опальные укрывались на Дону безопасно. Притом открою тебе еще тайну свою: благодетель нашего рода боярин Борис Федорович Годунов обнадежил меня, что испросит мне прощение у царя Иоанна Васильевича.

– Это весьма хорошо. Да нет ли у тебя и от него грамотки?

– Как не быть!

– Теперь я надеюсь, что на нашей стороне будет праздник. Скажи еще, кто этот выходец, который называется твоим именем и для чего?

– Я видел его вчера мельком, только чуть ли это не тот опричник, который послан был отвезти бедного отца моего в Соловки?

– Статочное дело! Но что за охота пришла ему назваться твоим именем и жениться на Велике?

– Тут могут скрываться великие умыслы. Луковкино богатство вскружило ему голову, а увидев Велику, решил достать ее во что бы то ни стало. Может быть, он уже и женат – какое дело? Опричники не ставят в грех жениться от нескольких живых жен, коли нельзя сманить или отнять приглянувшуюся им девушку. Царь не только их ободряет, но тешится таким удалством своих клеветов.

– Изверги!

– Знаешь ли, Ермак Тимофеевич, – присовокупил Гроза, – как я пробирался сюда, встретился мне молодец сей, кажись, рука об руку с Мещеряком. Уж не выводывал ли атаман наш его тайны? Не для того ли он с ним сдружился?

Ермак был очень доволен этим открытием, надеясь, что Мещеряк ничего от него не скроет.

Красное солнышко застало наших героев еще на кладбище, но ни Луковка, ни Кольцо к ним не возвращались.

Глава четвертая

Рать московская у Раздоров. – Мещеряк подозревается в измене. – Московский посланец. – Круг на Майдане. – Московец требует выдачи голов опальных атаманов. – Ропот. – Ответ, произнесенный Ермаком. – Объявление войны царю московскому.

Весть о близкой опасности с быстротой молнии разнеслась по берегам тихого Дона. Из всех станиц казаки, даже пенные³¹, спешили к Раздорам, которые походили тогда на кипящее море. Везде толковали, везде судили, рядили, горячились, и говор народный уподоблялся рокоту валов, ударяющихся об утесы кремнистой скалы. Особенно на Майдане толпился народ и с нетерпением ждал гонца московского.

В таком ужасном недоумении прошло несколько суток, а никакого гонца не приезжало, хотя несметная рать московская стояла недалеко от Раздоров. Единственной отрадой и успокоением народу служили разумные речи атамана Ермака Тимофеевича, что увеличило еще более всеобщую к нему любовь и уважение.

Неудовольствие и опасения казаков усугубились бегством жениха, выдававшего себя за князя Ситского. Он исчез почти в тот час, как должна была совершиться его свадьба. После нескольких вопросов, сделанных ему Ермаком, и сбивчивости его в ответах он, без сомнения, заключил, что его стали подозревать и счел, что если подлог его откроется, то ему кружиться вместо брачного алтаря вокруг осины. Несколько казаков показало, что перед самым уходом видели его разговаривающим с Мещеряком. Раздраженный народ хотел кинуться на последнего и выпытать правду, хотя Мещеряк божился атаманам, что не ведает никаких его умыслов, что принимал его точно за князя Ситского и был в частом с ним отношении только по обязанности свата. Со всем тем одно заступничество Ермака могло спасти его от насилия народного. Ермак, чистый совестью, судил о других по себе: он не мог представить, что нашелся предатель между людьми храбрыми, между братьями. Под величайшей клятвой объявил он, наконец, Луковке тайну Грозы и взял с него согласие на брак его с Великой, когда пройдет удар, висящий над Раздорами.

На третий день с восходом солнца по дороге от московского лагеря показалось облако пыли; оно придвигалось ближе и ближе, порывистый ветер рассеял его на две стороны и открыл отряд московской конницы. Взоры всех обратились на ту сторону, сердца всех дрогнули. У въезда в город отряд остановился, а из середины его выехал ратник, покрытый с ног до головы блестящими, как огонь, доспехами, на коне, залитом в золото и серебро. Он смело продолжал свой путь до Майдана и, приближаясь к становой избе, где собрался огромный круг казаков и развевалось жалованное царем знамя, проворно соскочил со своего коня.

Москвитянин гордо встал посреди атаманов. Низким поклоном приветствовал его Луковка; взором, полным достоинства, встретил его Ермак. Посланец снял с головы косматый шлем свой и, обратясь к Луковке, как к старейшему атаману, начал свою речь:

– Великий государь царь Иоанн Васильевич!..

– Говори великому Войску Донскому, – раздалось в народе.

Посланец остановился.

– Почти великое Войско Донское! – загремело на площади, и москвитянин, как будто спохватившись, поклонился на все четыре стороны и продолжал:

³¹ Пенные казаки, то есть порочные, в круги не допускались и были прощаемы только при самых трудных предприятиях. В таком случае призывались грамотами в следующих выражениях: «Соберитесь в войско все атаманы молодцы, пенные и огненные, а вины их им отдадутся, ослушники же да лишатся расправы войска». Сие последнее значило лишение гражданства.

– Храбрые сыны тихого Дона! Давно ли были вы вернейшими слугами царя белого, давно ли вы получили милостивое слово царское и награды за службу свою вере и чести? И признательный государь оставил вам ваши права и вольности. Признайтесь сами: была ли когда стесняема свобода ваша, развеались ли когда знамена русские в станицах казацких? И это продолжилось бы до скончания мира, если б вы сами не нарушили прав своих, если б вы сами не поругались над присягой своей и клятвами, если б вы из храбрых, добрых воинов не стали... Да! Слушайте слова самого царя белого: *не стали гнусными разбойниками...*

Шумный ропот прервал его речи, тысячи рук схватились за мечи. Но грозный взор Ермака остановил дерзновенных.

– Посла ни секут, ни рубят! – воскликнул он, и народ умолк.

– Ваши юрты, – продолжал москвитянин, – стали убежищем опальных холопов царских. Беглецы наши вместо позорной казни находят у вас честь и уважение. И о стыд, о посрамление! Мимо станиц ваших, словно мимо вертепов хищных зверей, не стало проезда ни пешему, ни конному. Что подумал шах персидский о подданных царя русского, когда узнал, что посол его ограблен ими, что подумал бы и о самом царе, если б он не умел остановить и наказать дерзновенных, посягнувших на столь священную особу, уважаемую даже самыми дикими варварами? Велики вины ваши перед государем царем, казаки донские, но больше еще милость его к вам... Царь Иоанн Васильевич прощает вас, забывает вины ваши, но требует немедленно выдачи головою атаманов Ермака, Кольца, Грозы и Мещеряка как главных виновников последних неистовств; а из них еще первого – как дерзкого раба, осмелившегося вступить в переговоры со своим владыкой от собственного своего имени, забывшегося до того, что возмечтал устрашать царя русского. Бритоусов, достойный посланец сих разбойников, получил уже достойное наказание; а кровь их должна омыть преступление целого войска, устрашить дерзновенных и непослушных. Одна покорность смягчит царский гнев... – Он указал на поле, где, как черные тучи, собирались грозные московские рати. – Требую сейчас же исполнения воли царя милосердного...

Ропот негодования не допустил его продолжать далее. Напрасно он требовал слова, напрасно несколько раз начинал говорить, его не слушали, шумели, горячились и ждали, что скажет Ермак. Но сей последний медлил нарочно, чтобы узнать дух народный. Он давал время народу делиться на круги, толковать. Он хотел увидеть влияние, которое будут иметь приверженцы Москвы, хотел прислушаться к речам их. Тщетно Луковка старался доказывать, что благоразумие требует покориться царской воле и что государь, довольный их послушанием, без сомнения, помилует атаманов, им осужденных. «К чему послужит наше сопротивление, – говорил он, – наша храбрость? Только разгневает царя более, а не спасет голов опальных. Или вам любо будет смотреть, как тихий Дон потечет кровью наших единокровных, как запылают наши жилища, как не останется камня на камне в нашей родине, как детей и жен повлекут в Азов для продажи неверным, а остаток упорных братий вынужден будет искать покрова и убежища у царя басурманского?»

Казаки подходили слушать его, даже похваляли слова его, но тотчас же оставляли и присоединялись к кругам, где ораторы кипели негодованием на речи посланца московского и поступок с Бритоусовым, гремели войной кровавой, непримиримой.

Наконец, все кинулись в одну сторону, к рундуку войсковой избы: там заговорил Ермак Тимофеевич. Внезапно водворилась такая тишина, что последний шорох, малейшее движение были слышны в самом отдаленном углу.

– Товарищи и братья по вере и мечу! Великое Войско Донское всегда видело, что польза его дороже мне самой жизни, что жизнь моя ничто для меня, когда дело идет о его славе; то могло ли оно подумать, что, возбуждая его поддержать честь и доброе имя, я хочу кровью его спасти свою голову. Нет! Эта постыдная дума, я знаю, не придет в голову храбрых, доблестных моих товарищей! Нет! Они уверены, что Ермак сам себе распорет грудь, если нужно

вынуть из нее сердце; своими руками вытянет себе жилы, если нужна веревка для его выи; положит сей час на плаху голову, если нужна она для вашего спокойствия, чести и славы...

– Верим, верим! – грянуло, подобно громовому удару, и снова умолкло.

– Но, выполнив слепо волю Иоанна, купите ли вы себе спокойствие, честь и славу?

– Умрем, а не выдадим атаманов наших, – раздалось снова в народе.

– Постойте! Выслушайте и решите, – продолжал Ермак. – И так уже царь московский хочет, чтоб без его разрешения храбрые донцы не смели громить Азова, не смели разгуляться в степях крымских и буджатских, поднять паруса на Черном море. Царь забыл, что еще дед его жаловался на нас султану, а отцу его султан говорил, что донцы сидят у него как бельмо в глазу. Теперь же что мы стали и что станем? Скоро спесивый боярин придет в Раздоры располагать нашими женами и детьми. Скоро...

– Довольно, довольно! – закричал народ. – Постоим за себя...

– Слышишь ли ответ царю московскому свободного Донского Войска? – сказал Ермак, обратясь к посланцу. – Другого не жди!

И сей последний мгновенно вскочил на борзого коня своего и исчез в облаках пыли.

Глава пятая

Раздоры разорены войском Иоанна Грозного. – Ермак с дружиной укрывается в подземелье. – Очаровательная пещера. – Раненый Гроза. – Вероломство Мещеряка.

Если б недоверчивый читатель не имел возможности проверить следующее описание на самом деле, если б еще доселе не существовали живописные сталактитовые пещеры по крутым берегам Волги, близ впадения в нее Камы, и по горам, идущим вверх сей последней реки; то можно бы подумать, что мы хотим представить баснословные чертоги волшебников и волшебниц, упоминаемых в сказках того века, или, по крайней мере, описать золотую палату Кремлевского дворца царских времен при посольских аудиенциях; но как ни великолепна была сия последняя, как ни горели тогда разными огнями венцы и ризы чудотворных икон и царского престола, как ни блестели золотые кружева, по стенам натянутые, как ни ярко отражалось зарево тысячи свечей на золотой и серебряной посуде, возвышавшейся пирамидой у среднего столба, но все это не могло бы дать полной картины огромной храмины, на середине которой, вокруг пылающего костра, лежало несколько человек. Яркие радуги играли попеременно перламутром и опалом на гладких стенах и полукруглом его своде. Высокие колонны готической архитектуры, составленные из драгоценных аметистов, аквамаринов и изумрудов, поддерживали его середину, а в углублениях приметны были ниши, отделявшиеся от центра мраморными, как снег белыми пилястрами, низ которых, казалось, обтянут был зеленым бархатом. К умножению очарования в одной из этих впадин вспыхивал по временам яркий свет и открывал длинный ряд таких же ротонд, а напротив его подобное отверстие, иссеченное на половине воздушного свода, освещалось так же по временам, представляло столь очаровательное зрелище, что нельзя было ни к чему более применить его, как к раскрытым вратам самого неба! Уже не одни драгоценности природы обнажал яркий луч, исходивший из оногo. Нет! Он, казалось, выносил с собой радость и веселье из обители богов.

Такова была пещера, находящаяся близ Тетюш, в горе, гладкой как стена. К сожалению, она весьма пострадала в последние времена от стихий, а более того – от людей, обломавших ее капельники; со всем тем при свете факелов взор путешественника бывает приведен в восхищение, особенно если зажечь нефть, которая плавает по поверхности небольшого озера, находящегося в верхней пещере, в которой проведена арка в самом потолке, как будто иссеченная рукой человека. О высоте второй пещеры можно судить из того, что к ней ведут не менее ста ступеней, выдолбленных по шероховатой коре капельников. У окрестных поселян до сей поры существует предание, что в этой пещере живет медный змей, шипение которого слышится каждый день при восходе солнца, когда он поднимается со своего логовища. Суеверие это объясняется тем, что первые солнечные лучи ударяют прямо в отверстие пещеры, усеянное капельниками, и издали точно представляют страшилище, покрытое светлой чешуей. Рев же, свист и шипение, происходя от быстрого движения воздуха, соответствуют силе стремления его в подземелье, подобно голосу, издававшемуся Мемновыми статуями.

Но что это за люди, забравшиеся в этот неприступный вертеп, окруженный со всех сторон дремучим лесом и кучами безобразных камней, между которыми пролегает к нему самая узкая лазейка? Судя по воинственному виду, по множеству доспехов, которыми каждый из них снабжен, по тишине и благочинию, которое между ними царствует, можно бы подумать, что это сторожевой отряд стройной рати московской. Но кого стеречь ему на уединенных берегах отдаленной Камы? Но зачем укрываться ему от божьего света, заходить, как

робким татам, в подземелье, где среди бела дня так мрачно, как в осеннюю полночь? Уж это не шайка ли тех недобрых людей, которые наводят ужас на пловцов волжских, которые залегают в осоку, камыш, за подводные камни, чтобы ястребом налететь на струг или лодку, и которые не дают пощады ни другу, ни недругу и делают плавание по Волге опаснее самого моря Хвалынского? Да и одежда их обрызгана кровью, и на мечях их запеклась она, словно ржа темничная! Но шайки удальцов приволжских не бывают так многочисленны; много, много состоят из двух, трех десятков, а здесь их более четырех сотен, самый отдых удальцов тех бывает шумен и неистов.

Долго бы пришлось нам доискиваться, кто эти воины, если б неожиданная тревога не помогла бы отгадать без малейшего труда.

Резкий свист раздался на поверхности подземелья. Свист повторился, и мужчина средних лет, по-видимому, начальник дружины, махнул рукой. Это было повеление человекам пяти кинуться в ту сторону, откуда свист вторился еще под сводами. И снова воцарилась тишина.

– Что за дьявольщина! – сказал лежавший подле атамана человек в черной бурке. – Молодцы наши давно побежали, а еще не возвращались.

– Нет ничего диковинного: впопыхах побежали прытко, а вскоре ноги и отказались служить.

– Правду сказать, Ермак Тимофеевич, послужили они нам эти деньки верой и правдой.

– Да, брат Кольцо, насилу ушли от москалей и добрались до безопасного местечка, где можем отдохнуть и образумиться.

– Воля твоя, Ермак Тимофеевич, а мне сдается, что воевода Мурашкин не стал бы и не сумел бы так теснить нас, если б не указали ему следов наших.

– Неужели думаешь на Луковку?

– Нет, на другого, у которого более смысла, да менее чести.

– Ну, право, я не отгадаю.

– Сказал бы и доказал бы, да ты не любишь слышать, чтоб его уличали.

– Понимаю, ты хочешь сказать об атамане Мещеряке, но этому быть нельзя. У нас нет между собой более никакой досады, и он мне доказал свою дружбу.

– Ты, атаман, судишь всех по себе. Конечно, ты забыл все его против тебя пакости и козни, да он-то не таков. В его татарском сердце и совесть басурманская, которая во всю жизнь не прощает ни малейшей обиды.

– Перестань, ради бога, об этом говорить! Ты знаешь, что мне тяжело вспоминать про старое.

– По крайней мере, Ермак Тимофеевич, мы должны взять свои предосторожности. Поверь мне, что Мещеряк недорого возьмет навести на нас москалей, тогда как мы не в состоянии будем ни отразить их, ни спастись от них. Они захватят нас здесь, как мышей в западне. Ведь он слышал, как ты назначал атаманам эту пещеру последним сборным местом.

Ермак нахмурил свои черные брови; он хотел что-то сказать, как вбежавший казак объявил, что несут полумертвым атамана Грозу. При этом имени все казаки вскочили и изъявили искреннюю радость, ибо полагали его убитым. Ермак первый кинулся навстречу юному своему любимцу, который почти без чувств лежал на широком опашне. Румянец с полных ланит его заслонился смертной бледностью, взор его, до сего быстрый, ясный, обратился в томный, изнуренный; но со всем тем лицо его, не потеряв доброты своей, не потеряло и той привлекательности, которая выражала чистую душу юноши. Ермак велел тихо положить Грозу у огня на медвежью кожу и тотчас перевязать ему раны. Кольцо, искусный в лечении всякого рода язв, с поспешностью исполнил это приятное для него поручение и, наказав всем удалиться от больного, дабы не тревожить его ни вопросами, ни шумом, приставил к нему на часы надежного казака.

Когда Кольцо распорядился как только можно было лучше для спокойствия и облегчения страданий Грозы, то, приблизившись к Ермаку, сказал:

– Слава богу, привелось нам еще увидеть нашего храброго товарища; но, кажись, ненадолго, он не жилец на белом свете.

– Почему же ты теряешь надежду? – спросил Ермак.

– Да рана-то глубоко прошла к сердцу! Дивлюсь, как Владимир, с его проворством и храбростью, мог допустить так ловко поддеть себя? Уж не рука ли какого мошенника тайком или изменой поразила его?

– Кажись, у Грозы не было неприятелей, все его любили, а по ранам, дружище, нельзя узнать, как и от кого получил их: они в частую бывают такие мудреные...

– То так, атаман; но разве ты забыл московского самозванца и не видал, как он исподтишка во время боя подбирался к своему сопернику с кем-то другим в опущенном забрале?

– На то война.

– Видно, до тебя не дошла весть, что в ту ночь, как на Майдане решено было не выдавать нас, а лицемер Луковка, видя, что их не взяла и все казаки увиваются вокруг Грозы, бросился к нему на шею, называя его своим сыном; что в ту ночь насилу Владимир отбил, и то благодаря своей верной собаке Султану, от трех злодеев, бросившихся на него из-за тына, когда он выходил от тебя после последнего круга. Воля твоя, а это – дело своих.

– Неужели подозреваешь Луковку в столь гнусном вероломстве?

– Нет! Опять того же, который готов на всякое вероломство.

– Право, Кольцо, если бы я не знал твою душу, то подумал бы, что ты из зависти или мщенья всякое злодейство приписываешь Мещеряку.

– Нет, атаман, лично мне он никакого худа не сделал, да дела-то его худые, и один ты изо всего войска их не знаешь. Моли Бога, что отделался от этой змеи! Ты слишком верил его сладким словам и раболепству, а он удружил бы тебе лучше старого при первом случае...

– Право, я не заметил ничего вредного и подозрительного в его поступках. Напротив, он казался мне верным и храбрым казаком.

– Уж не от верности ли и храбрости попался он первый в плен москалям?

– Он первый кинулся на врага.

– И пропал...

– Мудреного ничего не было: москали так хитро заслонили свою пехоту конницей.

– Да как же они отгадали все наши засеки? Почему же воевода русский, вместо того чтоб идти прямо на город, вырезал татарами отряд храброго Грозы? Отчего он знал все завалы наши, нападал там, где мы были слабее? Будь у него орлиный взор, ему бы этого не взвидеть, а был у нас предатель, и, воля твоя, я ни на кого другого, кроме Мещеряка, не думаю.

– Когда начнешь подозревать, тот и без вины покажется виноватым. Скорее можно подумать на есаула Самку: он крепче всех стоял за московского царя и первый внушил мысль Луковке с единомышленниками своими оставить Раздоры до кровопролития.

– Правда! Самка крепко настаивал, чтоб покориться воле Грозного; но он говорил громко, доказывал смело, он был противного мнения о пользе и чести казацкого войска, и только. Такие люди не способны к предательству, к тому же одни атаманов ведали о твоих распоряжениях.

– Правду сказать, любезный Кольцо, я сам полагаю, что нам изменили. Наши резались славно со стрельцами, крошили их по-молодецки, и они ничего не взяли бы у нас, несмотря, что втрое были сильнее, коли попали б в западню и артаулы наши очутились бы у них за спиной. Впрочем, видно, так суждено свыше: Его святая воля. Прошедшего не воротить, а подумаем о настоящем.

Разговор прервался приходом казака, приставленного к Грозе: он объявил, что больной требует к себе непременно атамана, желая перед смертью что-то ему поведать.

Глава шестая

Беседа Ермака с Грозой. – Мнимоумерший. – Жалобы на бездействие Ермака. – Шаман. – Колдовство. – Гроза ожил.

Странно, удивительно было видеть грозного Ермака, растроганного до такой степени, что слезы катились по лицу его, тем более что это, вероятно, случилось в первый раз в его жизни. Ермак, взиравший доселе на смерть подобного себе человека с таким хладнокровием, с каким смотрим мы на тихий сон странника; Ермак, закаливший сердце, подобно своему булатному товарищу, безжалостно, – льет слезы у болезненного ложа юноши, ему чуждого, ему мало знакомого! Но такова сила истинных доблестей над сердцами героев. Ермак забыл, казалось, на то время роль, которую судьба определила ему играть на свете, – роль непричастного всем напастям и ощущениям, чтобы повелевать людьми; Ермак с чувством искреннего сострадания уговаривал юного своего друга не предаваться отчаянию, а уповать на милость Божью.

– Позволь, отец мой, – говорил Гроза слабым голосом, – позволь сказать тебе еще одно мое желание, не смею сказать, совет...

– Я готов, сын мой, – отвечал Ермак, – все от тебя выслушать, все от тебя принять; но боюсь, что дальнейшее напряжение может повредить тебе, а потому отложим разговор наш до другого времени.

– Нельзя! Чувствую, что скоро силы оставят меня; но я умру покойно, когда поведаю тебе думы мои. Ими я жил, для них поборол самую смерть.

– Говори, я слушаю...

– Помнишь ли, Ермак Тимофеевич, когда я описывал жизнь свою у Строгановых в великой Перми, изобилие и богатство неведомых стран, за нею лежащих, ты сказал, что хотелось бы тебе самому изведать те края. О! Это крепко залегло в мою душу, а со времени последней нашей беды, когда более не существует, может быть, твоя родина и истреблено имя донских казаков, где тебе искать верного пристанища, как не в великой Перми? Она не выходит у меня из головы. Если Богу неужгодно допустить меня быть тебе путеводителем, то, лежа в сырой земле, порадуюсь за тебя.

– Сознаюсь, любезный Владимир, – сказал Ермак с некоторым смущением, – что в последнее время и мне мысль сия представлялась неоднократно.

– Ради бога, Ермак Тимофеевич, не отвергай ее, познай, что она указана тебе свыше.

– Для этого надобно, сын мой, еще много обдумать, много поговорить с тобой. Но перестанем, я боюсь, чтоб ты себе не повредил излишним напряжением. – С этим словом Ермак пристально взглянул на юношу и с ужасом отпустил его руку: она охладела, глаза его сомкнулись, губы помертвели, и сердце перестало биться. – Его не стало! – вскричал Ермак с искренним прискорбием и поспешил позвать Кольцо для подания ему помощи.

Когда не осталось ни малейшего признака жизни, то Ермак отдал последний долг доброму товарищу, похоронив его в верхней пещере, причем великолепие и пышность обрядов заменены были всеобщим сожалением, слезами и благословениями памяти усопшего.

Прошло более суток после смерти Грозы, как вбегает в подземелье косматая большая собака. Некоторые казаки вспомнили, что это Султан, верный спутник покойника, подзывали его к себе, манили, но он ни на кого не смотрел, никого не слушался, а бегал по пещере, обнюхивая все углы и особенно те места, где лежал его хозяин. Наконец Султан кинулся в верхнюю пещеру, где был похоронен Гроза, и с воем стал рыть его могилу. Потом сбежал вниз, между всеми отыскал атамана Ермака и начал вокруг него ластиться и выть жалобно.

Долго не понимали, чего Султан хочет, всякий толковал по-своему телодвижения и визги собаки, дивясь его смышлености, что выбрала из всех казаков старшего в свои хозяева; но Султан, казалось вышедший из терпения от непонятливости людей, схватил Ермака за полу и потащил его за собой наверх. Каково же было горе и отчаяние казаков, за ним последовавших из любопытства, когда из ямы, которую вырыла собака над могилой своего хозяина, раздался глухой стон. Ермак в минуту кинулся разрывать ее, и в минуту открыли гроб. К общему всех ужасу и радости нашли, что умерший перевернулся в гробу и дышал еще, хотя весьма слабо. Нельзя вообразить всего того, что делал Султан в изъявление своей радости и благодарности: он скакал на всех, лизал всем руки, ноги и тотчас же улегся у изголовья своего хозяина, когда его перенесли вниз, и не допускал к нему никого, кроме Ермака и Кольца. К сожалению, все врачебные средства последнего были тщетны, все попечения и усилия Ермака не имели никакого успеха: больной нисколько не поправлялся, и в продолжение трех суток одно слабое дыхание показывало, что в нем тлеется еще искра жизни.

Сие болезненное состояние любимого всеми товарища распространяло какую-то горесть на всю дружину. Ермак сделался еще мрачнее и безмолвнее. Кольцо редко мог добиться от него слова, он не удивлялся его суровости, но не мог понять его бездействия. Прошло уже более двух недель, как они укрывались в пещере: продовольствие становилось час от часу затруднительнее и ограничивалось уже добычей одной охоты, на которую ежедневно высылались несколько казаков со строгим наказом не выходить на Волгу. Ропот, сначала глухой, потом смелый и громкий, слышался час от часу более в кругах верной дружины и часто вторился так ясно под круглыми сводами, что, вероятно, долетал до слуха атамана, а он все не изменял своей беспечности, все молчал.

— Нет, братцы, — сказал однажды есаул Самусь, гложая тощий мосол дикой козы, — нет! Видно, придется нам самим о себе промышлять. Атаман, Бог ему судья, от нас отступился, забыл о нас, забыл, что мы за него отказались от родины, готовы были положить свои буйные головушки...

— Неправда, господин есаул, — подхватил Грицко Корж, старый казак, считавшийся первым отвагою и балагуром в дружине, — ты клеплешь на атамана. Видишь, ему хочется сперва выучить нас не есть по месяцу, а потом и поведет закаленную голодом дружину в Москву — на калачи, на брагу.

Всеобщий хохот раздался по подземелью, ибо товарищи Коржа так приучены были к острому шуткам его, что начинали хохотать, когда он разевал еще рот.

— Нет, господин есаул, — продолжал он, — имей терпение. Ермак Тимофеевич оденет нас в аксамитные и атласные зипуны, когда ветер сорвет с плеч наших последние лоскуты.

— Спасибо за щегольство, — вскричало несколько голосов со смехом.

— А как проржавеют наши ятаганы и мечи, то он наделает из них ухватов и иголок да выучит нас шить и стряпать.

— И впрямь так, — сказал Самусь. — Атаман хочет из нас сделать настоящих баб. У меня, право, скоро будут пролежни на спине. Подожду еще денька два, три — да и поклонюсь ему низехонько. Я найду себе дорогу не хуже атамана Пана, даром, что он новгородец. Вишь, догадался, убрался отсюда прежде, чем мы заквасли. Да меня и Долбило³² примет в есаулы; я с ним еще не раз сброжу в Астрахань, покуда доберутся до нас москаль...

— Возьми и меня, и меня, — раздалось со всех сторон.

— Ну, чтоб вам виднее было *дуван дуванить*³³, киньте-ка, братцы, дровец! — вскричал Грицко. — А во тьме того и смотри, что астраханцы разбегутся.

³² Славный волжский разбойник.

³³ Делить добычу.

От хохота задрожали своды подземелья. В огонь бросили целую охапку сухого хвороста. Пламя вспыхнуло с необыкновенной силой и осветило во всей красоте и великолепии волшебную храмину. Это невольно заставило казаков, равнодушных уже ко всякого рода зрелищам, кинуть взор на костер. И что же представилось их глазам? Чудовище в человеческом образе, как будто выходящее из дыма. Первым движением всех было взглянуть на Коржа, почитая его способным сыграть такую шутку; но, видя, что он на своем месте, подобно им, выпялил глаза и крестится со всем усердием, а приведение не исчезает, делается явственнее и ощутительнее, так что послышался от него какой-то странный звон, храбрецы дрогнули и бог знает, на что бы решились, что с ними бы случилось, если бы Султан не прибежал к ним на выручку. С ужасным лаем он вскочил со своего места и бросился на страшилище. Но вот новое удивление, новый повод к суеверному страху. Султан, подбегавший к привидению с остервенением, внезапно переменял свою злобу на самое нежное изъявление восторга: он визжал, скакал, валялся вокруг него. К счастью, из ближней пещеры вышли Кольцо с казком, в котором все узнали атамана Пана, пропадавшего с первого дня прибытия сюда дружины. Они подошли к привидению и увели его в другую пещеру. Любопытство придало храбрости нескольким смельчакам подойти к отверстию, и они услышали следующий разговор между Ермаком, Паном и чудовищем.

– Нет, Пан, я ожидал от тебя более проворства и смыслености, – говорил первый.

– Воля твоя, Ермак Тимофеевич, а уж нельзя более порадовать. Вот тебе свидетель – этот урод, что Камою сам черт не доберется вшестером до Орлова-городка. И так не проходило дня, чтоб мы не целовались с этими нехристями. Половину товарищей оставил в сырой земле; но все бы пошел далее, если б не поймал этого лешего, который изрядно говорит похристиански и рассказывает, что Строгановы ушли бог знает, куда только далеко на полночь. Радехонек, что языка добился...

– Да что это, впрямь, за пугало достал ты?

– Это поп оятятский, по-ихнему шаман; да такой сильный, такой неугомонный, что мы вчетвером насилу его одолели и сюда дотащили!

В продолжение сего времени шаман стоял перед атаманами в какой-то дикой бесчувственности, и, если б не страшные, сверкающие глаза его, то можно бы было признать его скорее за истукана, чем за живое существо; подобно тому, странность одевания при зверском безобразии его лица, уподобляли его более жителю преисподней, нежели человеку. Черные всклокоченные волосы щетиной торчали из-под его шапки, похожей на шишак, на которой гребнем развевались совиные крылья, а украшения состояли из змей, ящериц и жаб, привешенных вокруг. Этими же «драгоценностями» вместе с разного рода побрякушками, колокольчиками, бубенчиками, гвоздями, орлиными носами и когтями диких зверей унизано было платье его, состоявшее из длинного кожаного мешка, так что при малейшем движении издавал он какой-то дикий звук или гул. В одной руке шаман держал небольшой барабан, а в другой – заячью лапу вместо тимпана.

Несмотря на столь странную фигуру оятятского колдуна, Ермак не обратил большого внимания на его наружность, а тотчас приступил к вопросам.

– Скажи-ка мне, шаман, – сказал он, – откуда ты?

– Я все скажу, многое скажу, – отвечал шаман каким-то гробовым голосом, быстро взглянув на Ермака, – но наперед скажи сам, где взял эту собаку? – и указал на Султана, который покойно стоял подле него.

– Странный вопрос твой заставляет меня удовлетворить твое желание, – отвечал Ермак. – Собака эта не моя, а принадлежит товарищу нашему, который теперь болен.

– Болен! – воскликнул шаман. – Молиться светлему Нуму³⁴, выгнать нечистого шайтана³⁵, так и будет здоров.

Султан, как будто поняв эти последние слова, схватил его за широкий рукав и потянул в ту сторону, где лежал Гроза в самом отчаянном состоянии. Ермак не только не воспрепятствовал этому любопытному происшествию, но сам пошел за ними следом.

Храбрые казаки давали охотно широкую дорогу сей чудной, по их понятию, дьявольской чете и, крестясь, прижимались один к другому сколь можно теснее. Вот Султан приводит шамана прямо к бесчувственному телу своего хозяина, и он только что взглянул на лицо больного, как отскочил и сделал такой прыжок к костру, что самые недоверчивые могли принять его за нечистого духа. Кинувшись на колени перед огнем, шаман всунул в него голову свою и, разинув страшную пасть, стал глотать красное пламя. Потом вдруг поднялся на ноги, вытянулся и со страшными заклинаниями и воплями принялся скакать через костер. То, казалось, он хотел броситься в огонь, но какая-то невидимая сила удерживала его; то, теряясь в дыме, пропадал или улетал с ним. Поистине коверканья сии при странном бряцании, диких восклицаниях и глухих ударах тимпана, вместе с неожиданностью и новостью сего явления, в состоянии были поселить страх и удивление к кудеснику в самых неробких, несуетных душах. Наконец, он упал на землю как окаменелый, закрыл глаза, изо рта у него забила клубом кровавая пена, а лицо пришло в такое движение, в каком бывает при самых ужасных судорогах: нос, рот и вообще все мускулы сдвигались со своих мест и как будто толкались между собой. Все молчали, даже Ермак приведен был в недоумение и не мешал, в ожидании, чем это кончится.

Не более как через десять минут кудесник поднялся на ноги и, подойдя к больному, стал дуть на него и брызгать холодной водой, которую черпал из близстоящего сосуда своим барабаном, потом громко провозгласил трижды:

– Храбрый друг мой, оставь ложе немощи – я повелеваю тебе.

Можно представить всеобщее удивление, когда после сих слов больной открыл глаза, и жизнь вспыхнула на впалых его щеках.

– Это сам дьявол! – вскричало несколько голосов. – Он погубит наши душеньки, мы пропали.

– Лучше пришибить его поскорее, – сказал Самусь и занес уже тяжелый кистень свой; но Кольцо вырвал его из рук убийцы и оттолкнул его, а потом усмирив страх и ропот дружины разумными речами.

³⁴ По-самоедски – Бог.

³⁵ Злой дух.

Глава седьмая

Действие Ермака. – Охота. – Чудный зверь. – Открытие опасности. – Гроза сбился с пути и пропал без вести.

Через три дня после этого Ермак сидел у постели Грозы вместе с Кольцом и дружески с ним разговаривал. Больной рассказывал об ужасах своей мнимой смерти. Он слышал все слова товарищей, почитавших его умершим, чувствовал, когда положили его в гроб, узнавал каждого, приходившего с ним прощаться, не мог только произнести ни одного слова, даже вздохнуть и пошевелиться, чтобы дать знать о своем существовании. Можно вообразить страдания его, когда опустили его в могилу и руки товарищей, каждый из которых дал бы дорого за жизнь его, заживо его покрыли холодной землей. К большому несчастью, от спертостого воздуха, причем грудь его готова была треснуть, ему не только возвратилось свободное дыхание, но и движение тогда, когда он не мог ни дышать, ни двигаться в тесном своем домовище. Сгущавшийся воздух давил его более, чем сама земля; он не видел возможности спастись, чувствовал, понимал, что скоро должен задохнуться. Кто и как услышит его глухие крики и тяжкие вздохи? Какое чудо похитит его из челюстей насекомых и гадов, явившихся заживо пожирать его? Ощущение шелеста их, ползание по телу превыше всех на свете мук и пыток. Некоторое время кое-как он оборонялся от их наглости; но скоро силы его оставили, он не в состоянии был шевелить руками и вынужденным нашелся предать себя им заживо. Вдруг ему слышится какой-то глухой звук, легкий шорох, они становятся явственнее, отраднее; надежда затеплилась в томящейся душе... Точно роют его могилу. Верно, хотят спасти его. И первая его мысль была молитва... Но радость его скоро перешла в отчаяние, когда отрадный гул умолк, когда опять водворилась гробовая тишина в могиле, а в сердце залегла тоска, невообразимая языком человеческим. После сего он очнулся не прежде, как когда шаман sprыснул его холодной водой и шумом пробудил чувства его из усыпления.

– Признаться, – сказал Ермак, – твой приятель куды как не красив, а чудной человек.

– И казаки перестали бояться его и полюбили, – прибавил Кольцо, – после того, как он научил нас доставать *кырлык*³⁶ и печь из него хлебы. Правда, сначала они не доверяли ему; но как увидели, что он кормит им Владимира и тот стал поправляться не по дням, а по часам, то послушались и теперь не нахвалятся... И впрямь чудное дело этот кырлык. Отмочи только чешую, да и толки муку, которая не уступает пшеничной.

– Как там обильна земля, – прибавил Ермак.

– В бытность мою у Строгановых, – сказал Гроза, – не раз приносили к нам другое подобное былье, гораздо вкуснее кырлыка. Его называют белая *сарана*, и туземцы готовят из него кисель. Я слышал, что дикари даже не запасаются им на зиму, а просто отнимают его у мышей; зверьки себе набивают целые норы этими питательными луковицами.

– Видно, нетрудно промыслить себе в тех странах хлеб и зипун, – заметил Ермак с улыбкою.

– Это правда! Посмотрел бы ты, какие там нажили себе богатства Строгановы в короткое время. Все там есть, всего много, одного только нет – людей.

– Я давно хотел спросить тебя, Владимир, как ты познакомился с этим шаманом?

– Когда я ходил из крепости Каргедана в черемисскую землю смирять бунт и приводить опять в подданство остяков, то где-то избавил его из рук дервишей, разосланных Кучумом по Сибири для приведения язычников в мусульманство. Истребив их кумиры, они хотели

³⁶ Сибирская гречиха.

сжечь живым и главного служителя оных в доказательство бессилия их богов и жрецов, а вместе и для уничтожения власти, которую имеет сей кудесник над умами язычников. С тех пор он был весьма полезен Строгановым, а мне в знак благодарности подарил первую свою драгоценность – свою собаку.

– Кажется, однако, Султан опять тебе изменил, – заметил Кольцо.

– Пусть его, нагуляется со старым своим хозяином, лишь бы научился у него искать целебные травы, – отвечал Владимир с усмешкой.

– Право, не худо бы. *Кашкарою*, которою он тебя вылечил, помог не одному тебе. Она поставила на ноги Петруся Хлопца и Ивася Чабана. Что твоя баня: как, бывало, напотят ее в котле да напьются, пот так и льет градом.

– Эти люди, близкие к природе, знают многие ее таинства, и под снегом находят излечение от самых трудных, опасных недугов.

Вдруг Ермак поднялся со своего места и, приняв вид какой-то особенной важности, сказал:

– Благодарение Всевышнему! Ты, Владимир, теперь собрался с силами, а потому можешь выслушать и подать совет в таком деле, которому надобно решить участь всех нас. Я давно помышлял, как бы примириться с Богом и с Русью. Твои рассказы о великой Перми ближе всего легли к моему сердцу, а после беды, случившейся с нами в Раздорах, я решился предложить себя с храброю дружиною Строгановым. Полагая, что ты убит, защищая азовскую дорогу, я отправил атамана Пана и есаула Брызгу в Орлов-городок по разным дорогам, проведать о тамошних обстоятельствах и даже предложить Строгановым свои услуги. Ты видел, что Пан возвратился ни с чем, то ли же будет от Брызги, не ведаю, а должно подождать его еще недельки две.

– Не говори, Ермак Тимофеевич, – отвечал Гроза, – что Пан ходил без успеха. Знай, что приобретение шамана Уркунду стоит пяти сот нашей братии, и я, признаюсь, без него не мог бы в половину быть полезен твоему предприятию... Знаешь ли, что сами Строгановы примут тебя ласковее, когда узнают, что с тобою шаман Уркунду. Они сулили ему золотые горы, чтоб он остался у них; ан нет! Не могли ничем удержать. Весь полуночный край в него верует как в идола; коли позовешь его на совет, так жалеть не будешь.

– Любезный Владимир, охотно верю всему, чтобы ты ни говорил о нем; но кто поручится за его верность?

– Я, я! – вскричал с жаром Гроза. – Головой своей ручаюсь, что в честности и великодушии сей язычник не уступит ни одному христианину.

– Не горячись, Владимир, и не осердись, когда я скажу, что в твои лета простительно увлекаться легковерием. Ты говорил сам, что этого рода люди умеют не только искусно притворяться, но и морочить других для собственной пользы. Рассуди еще, каково ему покажется, что несколько сотен христиан пойдет в его отчизну – распространять власть царя белого.

– О! Поверь, Ермак Тимофеевич, что если не из любви к христианам, то по ненависти к мусульманам он будет нам другом. По крайней мере, московцы не трогают их капищей, не касаются их святынь; напротив того, чтители Корана силою хотят обратить всех в магометанство. Впрочем, поговори сам хорошенько с Уркунду об их исповедании: он наскжет тебе столько любопытного и дивного, что легко согласишься, что при всей темноте и нестройности шаманского язычества, а особливо толкования о богах, нельзя не признать в нем общих понятий естественной веры и некоторых обрядов из Моисеевых законов, как-то: жертвенных огней, жертвоприношений, молитв и даже многих мнений. Не прими за суеверие, атаман, а уверяю тебя честью, что я был неоднократно свидетелем чудных прорицательств сего шамана.

Вбежавший Султан возвестил возвращение Уркунду. Ермак велел позвать его.

– Хочешь ли на родину? – спросил он у него.

– Нет, я еще нужен ему, – указав на Грозу, отвечал Уркунду.

– Возьми и его с собою.

– Ты лжешь?

– Нет, не лгу. Уркунду, я слышал, ты человек честный, стало быть, душою не покривишь.

– Спрашивай.

– Владимир ручается, что ты нам не изменишь.

– Я ведь не мусульманин!

– Итак, скажи: можешь ли, хочешь ли ты нас проводить до Строгановых?

Приметно было, что сей вопрос привел в смущение шамана; но он скоро ободрился и как будто с некоторым вдохновением отвечал:

– Один Нум научит нас.

Гроза, воспользовавшись сим случаем, удвоил свои просьбы и настояния, чтобы убедить Ермака позволить шаману вопросить своих богов. А чтобы не подать соблазна к суеверию, советовал сделать это в лесу без лишних свидетелей. Наконец Ермак более из любопытства, чем из доверия, согласился. Оставалось поймать зверя, приятного богам для принесения им в жертву. Гроза взялся отвратить и это затруднение и на другой день рано, выбрав человек двадцать искусных охотников, пустился с ними на промысел вверх по Каме.

После полудня, преследуя каменного барана, они увлечены были далеко в горы. Им удалось уже пригнать его к утесу, где, наверное, полагали захватить его живым, как, к крайнему всех удивлению, зверь соскочил вниз и удержался с необыкновенным искусством на небольшой скале, едва высунувшейся из гладкого утеса и трепещущей, так сказать, над бездонной пропастью. Казалось, тут был конец его дерзости. Охотники остановились и думали, на что он решится. И что же?

Баран, измерив быстрым взглядом бездну, кинулся в нее головою вниз так, что упал на крепкие рога свои и удар, подобный пистолетному выстрелу, несколько раз повторился в ущельях гор. «Чудесное творение», – промолвил Владимир, увидя, что зверь с прежней быстротой пробирался между утесами. Но видно, сама судьба назначила животное сие в жертву богам; ибо едва выбрался он из пропасти в густоту леса и почитал себя вне всякой опасности, как схвачен был Султаном, сторожившим его с величайшей осторожностью. «Видно, тут гуляет шаман мой», – подумал Гроза, и так как он потерял своих спутников, то пошел обходом к тому месту, где Султан поймал зверя.

Проходя чащею леса, он услышал невдалеке от себя громкий говор. Гроза, полагая, что это его товарищи, хотел оголоситься, как увидел перед собою лицо, совершенно ему незнакомое. Приученный к осторожности соседством с Азовом и своим положением, он немедленно спрятался за колоду и стал вслушиваться в их речи.

– Потерпи немножко, – говорил знакомый голос, по коему Гроза легко узнал Мещеряка, – поверь мне, что я скоро отыщу пещеру; отсюда должна быть она недалеко. Ну, слышь, выдам вам беглецов руками – без дальних хлопот: только нужно напасть на них врасплох, лучше всего ночью...

– Нет ли у пещеры двух выходов? – заметил другой голос, также несколько знакомый...

– Нет, кажется, один, – отвечал Мещеряк.

– Тем легче с ними будет управиться, – продолжал другой. – Правда, у нас вдвое противу них, и я нарочно выбрал из стрелецких полков таких молодцов, что все годились бы в опричники.

– Мы схватим первого встречного казака, – прервал Мещеряк, – да и пошлем в преисподнюю с предложением дружине выдать опальных бунтовщиков; небось здесь не как в

Раздорах или не в чистом поле, не постоят за них, не захотят умереть голодной смертью или заживо замураваться, как затворники обители Святого Николы³⁷.

– Коли пойдет дело на переговоры, пожалуй, я именем царя прощу всех, кроме Ермака. На одном помирюсь...

– Надеюсь, господин Грязной, что вы с воеводою меня не обманете, сдержите свое обещание и после похода тотчас же объявите меня старшим атаманом Донского Войска. Уж я не дам бунтовать и своевольничать отвагам, возьму весь Дон в ежовые рукавицы: будет у меня всякое лыко в строку, всякая вина виновата, ин любо станет самому батюшке царю. Он любит, свет, потешиться – ась?

– Сдержим, сдержим, господин Мещеряк, но вместе с тем сдержим и то, что если сегодня или завтра утром не отыщешь пещеры с беглецами, то хоть жаль старого сватушку, а делать нечего – должен буду вздеть его, голубчика, на осинушку. Извини, я человек подчиненный, вынужден исполнять приказание начальства и требование всей рати.

Гроза не заметил, какое впечатление сделало сие приятельское замечание опричника на предателя, только с ужасом услышал вслед за тем слова Мещеряка:

– Коли отдохнули молодцы, то пора в поход!

– Где отдохнуть часом, – раздалось несколько голосов, – ужели опять таскаться по лесам и ползать по горам без толку? И так оборвались, ни на что не похоже. А все завтраками кормишь...

– Сегодня, братцы, точно сегодня будет конец и делу венец, – сказал Мещеряк весело.

– Идем, коли дело делать, – крикнули стрельцы в один голос и поднялись с привала.

– Не забудь, любезный сватушка, – кричал со смехом Грязной вслед Мещеряку, – что до заката сегодняшнего солнышка в руки тебе атаманская булава или на осине будет висеть твоя голова.

Гроза долго прислушивался к шагам стрельцов и долго не смел не только встать, но и пошевелиться. Когда же все замолкло и он приподнял голову, то крайне удивился, найдя, что начинало смеркаться. Несмотря, однако, на темь, несмотря на то, что не весьма твердо заметил направление своего подземелья, что окружен был глубокими оврагами и крутыми скалами, – он пустился в дорогу, боясь опоздать минутою для возвещения опасности.

Мысль сия придавала ему сверхъестественные силы для преодоления опасностей и трудностей пути. Он летел. Полуночные птицы перестали уже виться над ним и уселись по темным углам своим, а Гроза все шел. Уже перепел возвестил пришествие зари, а Гроза продолжал путь свой, наконец, и трели соловья, провозвестника о появлении светила светил, умолкли, а Гроза не переставал идти. Должно бы давно добраться до пещеры, по крайней мере, она должна быть уже близко; но боже мой, каким ударом поражен был неутомимый, изнуренный Владимир, когда при свете первого луча солнечного увидел совершенно незнакомые ему места, увидел даже новую природу. Стало быть, он зашел в противную сторону от своей цели – и далеко; мысль, что в это время величайшая напасть постигла его товарищей и он не умел ее отвратить, хотя имел на то возможность, подавила и последние силы его: он упал без памяти от изнеможения, бывши не в состоянии более вытаскивать ног из сыпучего песка.

³⁷ Казаки имели два собственных монастыря: Никольский близ Воронежа и Черпеев в Шацке, в коих часто престарелые казаки кончали жизнь свою.

Глава восьмая

Неожиданный приход Мещеряка в подземелье. – Оно оставляется казаками. – Картина живописной Башкирии. – Пожар. – Аул. – Дервиш. – Вести о Велике. – Предложение дервиша.

Отсутствие Грозы, несовершенно еще оправившегося от жестокой болезни, весьма беспокоило Ермака, тем более что спутники его возвратились все, кроме шамана; даже и Султан обратно прибежал в пещеру тот же самый вечер. На другой день Ермак разослал несколько человек в разные стороны искать Грозу, и сам несколько раз выходил навстречу.

Ночью, когда мысли его были заняты отсутствием общего любимца, вбегает сторожевой казак и объявляет, что атаман Мещеряк желает как можно скорее переговорить с ним наедине. Ермак, хотя удивился такому неожиданному посещению, но велел тотчас впустить его к себе.

Не станем описывать их свидания, на коем Мещеряк уверил, что, вынужденный пытками сознаться в знании его убежища, он был избран в вожатые, но вместо того чтобы вести московичей к пещере, завел их в горы и леса, откуда им не выбиться в неделю на настоящий путь, а сам при первой возможности скрылся и прибежал сюда, и прочее. Скажем только, что следствием одного было немедленное оставление подземелья всей дружиной. Встреча Мещеряка с Кольцом могла бы иметь худые последствия, если б первый был сколько-нибудь менее дерзок и нагл, а второй скромнен и благоразумен.

Однако Ермак был в самом затруднительном положении: он недоумевал, куда и зачем идти? Остановиться вблизи боялся, что московичи откроют следы его; удаляясь, мог разлучиться навсегда с Брызгою, без которого не хотел ничего решительно предпринимать, равно мог разойтись с Грозою и шаманом. По долгом совещании с Кольцом положили, наконец, выбрав самых исправных, сметливых казаков и снабдивши их на несколько дней съестными припасами, расставить их в таком расстоянии один от другого, чтобы они могли скоро найти друг друга, с остальными идти в Башкирию.

Кто не бывал в стране, называемой Башкирией, тот не имеет понятия о красоте и изобилии южной части древней Биармии. Что за странное создание человек, подумаешь невольно, увидя сию благословенную страну в обладании башкирцев. Справедливо сказал какой-то древний философ, что человек есть соединение противоречий, самовластия и упрямства: желает небывалого, стремится к невозможному, любит недостойное, наслаждается не своим! Да прибавит нехотя: теснится, жмет один другого, давит, страдает, чтоб занять уголок на топком болоте, на сыпучих песках, на голой скале или бесплодной степи, не щадя ни трудов, ни денег, ни времени, тогда как богатейшая, прекрасная страна в свете манит его в свои объятия. В зыбучих тундрах утверждает железныеobeliski, на безлесных берегах сооружает плавучие крепости, то и другое с большими пожертвованиями и затруднениями, а страна, где и то и другое, равно как и все прихоти утонченного вкуса и изобретательной роскоши, мог бы удовлетворить несравненно легче и удобнее, остается без внимания, оставлена башкирцам – варварам, умеющим пользоваться благами щедрой природы, бедным среди всех богатств в мире.

Больно видеть сей эдем пустым, в руках диких тунеядцев, которые в четыре века обладания оным капли пота не пролили для раскрытия недр своих гор, заключающих все возможные сокровища: алмазы, яхонты, аметисты, бериллы, серебро, золото, медь, железо, порфир и яшму, каменную соль и уголья; которые истребили вековые леса для нескольких сухих пален под котлы свои; которые, чтобы не взять косы или плуга в руки, переходят с много-

численными стадами из места в место и находят повсюду тучные пажити; которые, наконец, считают величайшим трудом кинуть мережи в озера и реки, полные редчайшей рыбы, или натянуть тетиву своего лука, чтобы убить лань или драхву себе в пищу.

«Все это прекрасно, – скажут мне в ответ, – да можно ли жить без людей и в самом эдеме, можно ли быть счастливым с одной природой, сколь бы она ни была прелестна и богата?» Согласен! Но позвольте спросить вас, милостивые государи, что привлекает людей в отдаленную Америку? Не выгоды ли житейские? Что заставляет их переплывать бурные океаны, оставлять родину как не недовольство жизненных потребностей! Стало быть, нужна только добрая воля и – пустынная Башкирия сделается в несколько лет населеннейшей областью царства Русского, и из всех краев света кинутся к подошве Каменного Пояса самые просвещенные люди, переселятся искусства и науки. Наконец, не забудьте о соседстве Каспийского моря, через которое только можно переманить в Россию богатства невежественной Азии и дать естественное, истинное направление русской торговле. Преобразователь России, обратив ее от Востока к Западу, дабы переселить просвещение Европы, всегда имел в виду Азию, и даже последним предприятием и усилием его гения было открыть путь в Индию, приготовить грядущим столетиям верный сбыт избытков возникавшей при нем промышленности...

«Боже мой! Куда увлекло тебя воображение?» – скажут мои читатели. Не прикажете ли выпустить, уничтожить сие разглагольствие, вылившееся неволью из-под пера историка Петра Великого³⁸? «Так и быть, оставь», – говорят некоторые великодушные, угадывая, может быть, что оно послужит предисловием к настоящему делу.

Башкирцы после покорения Казани царем Иоанном Васильевичем хотя признали над собою власть московскую, но худо ей повиновались, неохотно платили положенный на них ясак и при всяком понуждении к оному готовы были бунтовать. Укоренявшееся между ними день ото дня магометанство делало их по вере врагами христиан; несмотря на то, нигде нельзя было найти лучшего убежища Ермаковой дружине, как между сими потомками воинственных болгар, судя по их наследственному гостеприимству и изобилию.

Первые четыре дня Ермак вел свою дружину весьма поспешно, дабы как можно более удалиться от москвитян, потом пошел самыми малыми переходами. В десятый день они взошли на одну из высочайших гор Башкирии, называемую Ярындыком, и хотели расположиться ночевать на вершине оной, как у подошвы увидели обширное озеро, в котором, словно в зеркале, гляделись все окрестности. С одной стороны бесчисленные стада овец и табуны лошадей паслись на роскошных лугах и с высоты казались пчелами, порхающими над морем радужных цветов; с другой из чащи прелестной рощи, как будто насаженной рукою человека на равной покатости, выходил дым. Это был верный признак жилища кочующего народа. Сколь ни хотелось казакам скорее попасть в жилье человеческое, но было бы безрассудно и даже дерзко при увеличивающейся темноте вечера пуститься с крутой, высокой горы, изрытой бездонными пропастями. Казалось, Провидение сжалилось над странниками, подав им неожиданно способ выполнить их желание и вместе с тем доставив случай увидеть великолепнейшее зрелище. Вдруг загорелось озеро разноцветными огнями, пламя легкими метеорами слетало с берегов, дабы свободнее виться и играть над поверхностью тихих вод. Самые глубокие рвы и ущелья, самые непроницаемые дубравы и леса, покрывавшие исполинскую гору, озарились ярким светом и привели в испуг стаи нетопырей и хищных зверей, находивших тут безмятежное убежище.

Всякий другой был бы поражен сим феноменом, но казаки, отгадав, что это не что иное, как обыкновенный способ кочующих народов утучнять свои луга, поспешили воспользоваться мимолетным заревом, дабы поскорее спуститься с горы. При свете огня они легко

³⁸ Автор занимается уже семь лет сочинением истории Петра Великого.

отличили целый аул, разбросанный между деревьями, в самом живописном виде; но они крайне удивились, не найдя живой души ни в одной из десяти кибиток, составлявших оный. Ермак думал, что жители со страху разбежались при виде многочисленной его дружины, и Кольцо, знавший совершенно по-татарски, собрался уже идти в лес отыскивать их и уговаривать возвратиться, как все услышали странный гул из кибитки, стоявшей несколько в отдалении. Все кинулись к ней: у кибитки подняты были нижние полы, а потому можно было видеть все, что ни происходило внутри ее. Она наполнена была людьми, большими и малыми, мужчинами и женщинами, которые с таким подобострастием глядели на что-то, кружившееся посередине с необычайной скоростью, что не заметили их прихода. Когда круги сего вертящегося существа стали тише, слабее, то сперва обозначилось человеческое лицо, потом появилась человеческая фигура, и наконец, из всего этого ясно можно было отличить старика с седой бородой, одетого в широкий кафтан, крепко подпоясанный так, что полы одного при быстром кружении образовывали горизонтальную плоскость, из коей торчало зеленое пятно, составлявшее вершину острой чалмы его. Наконец, сей удивительный старик упал на землю, и несколько башкирцев, по-видимому из старейшин, кинулись к нему с благословением. Долго не произносил он ни одного слова, наконец воскликнул: «Алла! Ишь Аллах! Един пророк Магомет на небе, един царь Кучум на земле. Неверующие да погибнут яко прах. Глядите, уже табуны их во власти неверных, юрты их разграблены, рассеяны, жены и дети увлечены в неволю. Глядите, вон спускаются враги с гор, яко весенний поток все ниспровергающий...»

Весьма естественно, что слова сии показались пророчеством, когда образумившиеся башкирцы увидели себя окруженными множеством людей воинственной наружности. Сначала, казалось, оставались они в недоумении, во сне или наяву сие видят? Но скоро вой и стенания женщин, плач детей, подобострастие мужчин, которые все поверглись на землю, как будто испрашивая помилования, доказывали, что они действительно приняли казаков за неприятелей и не прежде вышли из сего положения, как когда Ермак, подозревая к себе нескольких аксакалов (седовласых старцев), уверил, что они пришли друзьями, а не врагами и никакого им зла не причинят.

Между тем и пророк очнулся.

– Что это за сумасшедший? – спросил Ермак у Кольца.

– Это один из ревностных поборников ислама, называемых дервишами, – отвечал он.

– Эти сумасброды, слышал я от Грозы, более самой храбрости Кучума содействовали распространению его власти в Сибири.

Башкирцы, видя, что ни дома их не горят, ни жен их не тащат в неволю, ободрившись, стали по одному расходиться по жилищам своим, и вскорости в кибитке не осталось никого, кроме хозяина Султана Уса-Ушина, который был старшиной аула. Ермак приказал ему похлопотать об угощении его дружины наилучшим образом.

Вскоре перед каждой кибиткой затрещали дубовые костры, и завертели на деревянных вертелах жирные бараны. Гостеприимные номады вытащили из жилищ своих все, что только имели для утоления жажды и голода гостей своих: приносили полные меха кумыса³⁹ и арьяна⁴⁰, и казаки, хотя морщились от неприятного запаха сего степного напитка, но, распознав его опьянелость, опоражнивали турсуки⁴¹ не хуже самих хозяев.

Во все сие время Ермак не спускал глаз с дервиша, который соблюдал глубокое молчание и бормотал молитвы, перебирая четки.

³⁹ Кобылье заквашенное молоко, имеющее острый вкус и многие целебные свойства.

⁴⁰ Коровье кислое молоко, разведенное водой.

⁴¹ Мешок из выкопченной конской кожи.

– Скажи, верный служитель Корана, – спросил атаман, сев подле него к огню, – скажи, по какому откровению или праву отклоняешь ты сей народ от подданства царю белому?

– По праву правоверного, которое честнее твоего права, – отвечал угрюмо дервиш.

Ответ сей задел за живое Ермака и Кольцо, они взглянулись, и тогда, как второй готов был вспыхнуть от гнева, первый с хладнокровием возразил:

– Ты ошибаешься, эти добрые люди не обижены царем московским, их клятве верят, им не грозит постыдная смерть, они не вынуждены защищать жизнь и честь...

– Знаю, атаман, все обиды, все оскорбления и несправедливости, тебе сделанные; но за это молят правоверные о тебе великого Аллаха.

– Почему ты меня знаешь? – спросил с удивлением Ермак.

– В Азове все тебя знают, все о тебе говорят.

– Что же говорят? – спросил Ермак с возрастающим любопытством.

– Благодарят тебя, а более твоего товарища, который изменил вам, без чего вряд ли московцам одолеть вас.

Атаманы опять взглянулись, и Кольцо невольно бросил взгляд на Мещеряка, который, желая отклонить от себя намек, спросил с величайшей дерзостью об имени изменника.

– Забыл, – отвечал дервиш, – кажись, он из татар.

Но в это время перебил Ермак речь его с умыслом или от нетерпения вопросом:

– Не был ли ты в Раздорах?

– Поздно хватился, – заметил со злой усмешкой мусульманин, – скоро запустеет и место, где было ненавистное гнездо ваше. Казаки, которые остались в живых и не разбежались, преданы в неволю. Азовский рынок два базара битком набит был невольницами и ребятишками; всех расхватили, так что старый атаман не застал уже своей дочери, которую приезжал было выкупать...

Из сих последних слов дервиша атаманы ясно увидели, что дело шло о Луковке и Велике, невесте бедного Грозы.

– Куда девалась эта девушка? – спросил Кольцо.

– Не упомяну, – отвечал дервиш, – купили ли ее для гарема крымского хана или сибирского царя. О! Она будет блаженствовать как гурия в Фирдевсе и, право, стоит того по красоте своей. В гареме святого пророка Магомета не было краше ее между шестьюстами одалисками...

– Подумай хорошенько, любезный, авось вспомнишь, кому она наверное продана, – спросил с приметным участием Ермак.

– Кажется, Кучуму, – отвечал недоверчиво мусульманин. – У бухарца Нургали, который торговал ее для сибирского царя, больше денег, чем у армянина Лазаря. Он заплатил два мешка да десять кусков ханзы и пять сусью и тотчас же отправил ее в крытой арбе в Астрахань.

– Вот тебе вдвое, вот тебе втрое, дам более, – сказал с чувством Ермак, – купи себе коня, двух, трех, скачи день и ночь, догони несчастную и выкупи...

– Вижу, атаман, что ты очень сострадателен к пригожим гуриям, – заметил лукаво дервиш, – я с радостью выполнил бы твою волю, только теперь уж поздно: бухары давно за Мангишлаком.

– Ах! Как бы мне хотелось оказать эту услугу нашему храброму товарищу! И как же иначе можно доказать дружбу, как не пособием в напасть сердечных? – продолжал атаман со вздохом. – Я готов отдать дервишу все, что ни имею, лишь бы обрадовать Грозу...

– Нет, атаман, – сказал дервиш, возвыся голос, – ты не так богат, чтобы дать более царя сибирского. Серебру и золоту у него счету нет, а есть один только способ получить пленницу из самого гарема его и все, что вы ни пожелаете.

– Говори! – вскричали в один голос оба атамана.

– Звезда ваша заблестит ярче дневного светила, мрак жизни вашей ниспадет как черное покрывало полуночи, когда восходит на небе светлая луна...

– Говори скорее! – вскричал атаман Кольцо в нетерпении.

– Что вы теперь, куда приклоните головы свои? Царь московский, а с ним и Бог русский отвергли вас...

– Довольно, мы без тебя знаем, что делать, – сказал сердито Ермак.

– На родине ожидает вас позорная смерть, – продолжал дервиш, не внимая словам Ермака, – родные и ближние отреклись от вас; своими руками выдадут вас паше русскому, приведут вас на торговую казнь... Падете ли от меча или с мечом в руках – ад примет души ваши... Признайте великого пророка и наместника его – царя Кучума, – и мир воссияет для вас светом радости, царь сибирский прольет на вас все свои щедроты, за дверьми гроба ожидают вас объятия вечно юных гурий – на лоне роскоши и безмятежного блаженства...

– Дервиш, – сказал Ермак с важностью, – прощаю тебе слова твои и помышления: ты исполняешь обет свой и долг, но ты не знаешь казаков, не знаешь, что ничто на свете не в состоянии поколебать казака в его вере, – он не изменит Христу Спасителю ни в счастье, ни в несчастье, не отречется от него ни ради всех благ мира, ни ради мук ада! Казак верует не прелестям чувственным, а блаженству душевному...

Хотел ли Ермак окончить скорее разговор о столь важном предмете с незнакомым ему человеком или по каким другим причинам, только велел дервишу удалиться. Надобно заметить, что дервиш сей принадлежал к секте Мевлева, знатнейшей на Востоке, настоятель которой, или шейк, происходивший по прямой линии от Джелладина, один только имеет право опоясывать турецкого султана османовой саблей в день вступления его на престол оттоманский. Тридцать два монашеских ордена, старавшиеся превзойти друг друга странностью обрядов и неистовствами, возвещали магометанство в Азии, обещая изнеженным обитателям Востока невообразимые блаженства и наслаждения в зеленеющих садах Фирдевса, на лоне вечно юных гурий; и начальное основание сих обществ, возникших в Турции, наподобие китайских бонз, индийских календеров и персидских дебуесов, приписывают Джелладину. С тех пор эти странствующие поборники ислама, обошедшие Азию, проникли, наконец, за железный хребет Урала, и в самое короткое время священные капища Рача должны были уступить место мечетям Магомета, и только на одних неприступных снегах Сибири открыто курились еще жертвенники идолопоклонства.

Глава девятая

Козни Мещеряка. – Встреча Ермака с Грозою. – Страдания Грозы в плену у башкирцев. – Шаман-спаситель. – Брязга возвращается из великой Перми. – Дары Строгановых. – Злые умыслы Мещеряка.

Уже более месяца гостил Ермак со своей дружиной у добрых, странноприимных башкирцев; их беззаботность и довольство представляли пленительную картину патриархальной жизни праотцов рода человеческого. Эта беззаботность сообщилась, казалось, всем казакам: они, казалось, были довольны своим положением; только Ермак при всей скрытности обнажал иногда скуку от бездействия и незнания будущности. Наконец, он решился отправить атамана Кольцо к подземелью – узнать о судьбе оставленных там на страже казаков и наведаться, не посещали ли его москвичи?

Ермак, оставшись один с Мещеряком, сначала удалялся его сообщества, ибо сердце его не лежало к этому товарищу, но вкрадчивость, хитрость и наглость сего последнего скоро так сблизили их, что Ермак стал час от часу более находить удовольствия в его беседе, стал более верить его невинности, нежели неприязни к нему атамана Кольца, и преданности его к правому делу: так называл Мещеряк сопротивление Ермака воле Иоанна. Пользуясь отсутствием Кольца, он начал смелее приводить в действие свои коварные замыслы, перевел к себе в кибитку своего наперсника Самуся, дабы при помощи его успешнее расставить сети доверчивости Ермака.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.